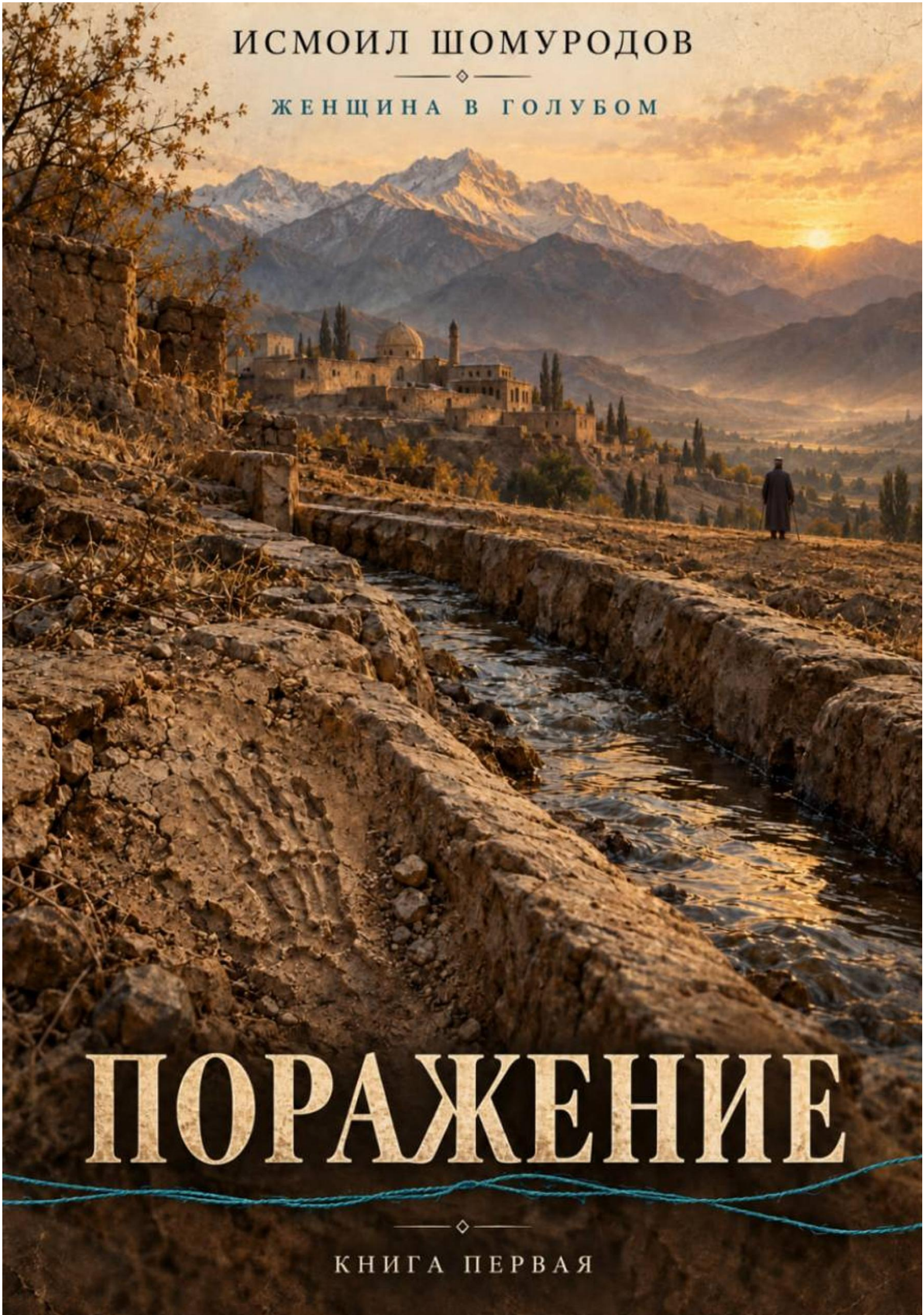
ИСМОИЛ ШОМУРОДОВ
ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ
ПОРАЖЕНИЕ
КНИГА ПЕРВАЯ

Исмаил ШОМУРАДОВ

ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ. Поражение

«Автор»
2026

ШОМУРАДОВ И.

ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ. Поражение / И. ШОМУРАДОВ — «Автор», 2026

В горном кишлаке прошлое никогда не исчезает бесследно. Найденные человеческие останки возвращают к жизни давние тайны, а судьбы нескольких поколений складываются в историю целого столетия, с его войнами, страхами, любовью и несбывшимися надеждами.«Женщина в голубом» роман в трёх книгах о цене выживания, тяжести молчания и памяти, которую невозможно отменить. Здесь чужой поступок меняет жизнь потомков, правота не избавляет от душевной боли, а любовь остаётся сильнее решения забыть.

© ШОМУРАДОВ И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 5
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Исмаил ШОМУРАДОВ
ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ. Поражение

Глава

XX век, первая половина 80-х годов.

– Эй, в могилу твоего отца и деда… Ты зачем воду открыл? Эй, в твою утиную башку… У меня вода ещё до огорода не дошла, а ты весь низ осушаешь!

Бекмуродуп Ходжаев костерит Абила, его отца и деда.

В тот день я вышел поливать табачное поле за нашим двором – без малого гектар. По своей воле ни за что бы не пошёл, но мать так наседала, что пришлось взвалить кетмень на плечо и отправиться к каналу.

Подгрёбши землю к стебелькам недавно посаженного табака, мы двадцать дней выдерживали его на жаре, томили жаждой. Удобрение – селитра – растворилось, впиталось в почву; тощие, слабенькие растения поникли под палящим солнцем. По опыту знаю: стоит теперь хорошенько увлажнить землю – и рассада сразу пойдёт в рост. За три-четыре дня поднимется до колен. После первой прополки её нарочно не поливают ещё и потому, что сорняки могут разрастись и забрать себе всю силу удобрения.

Июнь на исходе. Абрикосы поспели в самый раз. Только этим и хороша возня с водой: заодно можно досыта наесться плодов, которые золотятся на солнце, налились, стали чистым мёдом. На пустоши много бесхозных абрикосовых деревьев. Здесь ведь прежде стоял кишлак.

Раньше кишлак располагался выше, под горой, поближе к воде горного родника.

Со временем другие кишлаки стали забирать всю родниковую воду. Тогда через Гултепу проложили бетонный канал, вода пришла вниз, и все переселились туда.

Посреди кишлака, возле небольшого холма, справа от дороги, ведущей к горе, есть хауз для скота – водоём, заиленный, обмелевший, с протухшей водой, царство лягушек. Здесь же, слева от дороги, место сбора стада, а посередине – кишлачный трансформатор.

Если идти от скотского хауза к кладбищу, шагах в ста стоит ещё один хауз – этот чистый. Возле него старая мечеть, безлюдная, пустующая; прежнее её великолепие за долгие годы осело и разрушилось. Резная колонна айвана – открытой веранды, длиной больше четырёх размахов рук, выцветшая от жары и холода, глубоко растрескавшаяся, напоминает о былом величии здания.

Хауз и трансформатор делят кишлак на Пастгузар и Юкоригузар. Юкоригузар – место старого кишлака, откуда люди ушли, когда внизу появилась вода.

Бетонный канал идёт вдоль нижнего края прежних огородов: только перешагни – и ешь абрикосы сколько хочешь.

Услышав, как Бекмуродуп ругает Абила, я почувствовал, что в душе, уже просветлевшей в предвкушении абрикосов, сгустилась тьма: с этим человеком не договоришься.

Хотя к нему обращаются по фамилии, Бекмуродуп никогда не был учителем. Лет пятьдесят назад работал бригадиром, тогда это прозвище и пристало.

Вообще-то это фамилия, просто люди произносят её как прозвище. Зовут его Теша, он ужасно вспыльчив, многие с ним разговаривают с оглядкой. Особенно если «проглотит» четыре пиалы «белого чая» – тогда уже никакая сила не остановит.

– Что, племянник? – Видно, мой унылый вид ещё больше испортил ему настроение. – Словно тебя чего-то лишили: повесил нос, кетмень на плечо взвалил?

– Табак полить хотел, – сказал я робко. Знаю: воды не даст.

– Я сам стоял и думал: кто ещё объявится хозяином этого ручейка, что едва сочится, словно кошка напруднила, – проворчал он. – Неделю уже пять борозд картошки полить не могу. Думал, эти «утки» наконец насытятся, теперь вот этот вылез… Иди домой. Закончу – тогда приходи. Ложка по очереди, как дед Раззок говорит.

Дед Раззок живёт в стороне кладбища. Среди людей бывает редко, но кто в кишлаке ни скажет какую-нибудь присказку или пословицу – непременно помянет его. Я этого старика толком не знаю, хотя его внучка Малика – моя одноклассница. Раз имя у всех на устах, понимаю: дед Раззок либо умён, либо остёр на слово. По меньшей мере умеет к месту вставить пословицу. Потому кишлачным и кажется, будто любую пословицу сказал именно он.

– Двадцать дней уже земля трескается, – сказал я, сняв кетмень с плеча. – Рассада от безводья «улетает».

– Твоя улетает, а моя, значит, гуляет? – Бекмуродуп занёс кетмень, сделанный из маленького колеса кукурузной сеялки, с круглым отверстием посередине, и снова принялся обрушивать край грунтовой дороги, засыпая этой землёй арык, ведущий в огород Абила.

Низкорослый, сухощавый, почерневший на солнце, он был зол. Это видно хотя бы по тому, что, не сняв калош, залез в арык, прямо в воду, и рубит землю кетменём. А ведь Абил давно выскочил за ворота и убежал, да и вода во двор уже перекрыта. Бекмуродуп то ли хочет засыпать арык целиком, то ли просто не может унять злость.

Он снова с силой вонзает кетмень в обочину и швыряет землю в водяное «горлышко» Абилова двора. Арык – ладно, но дорогу-то зачем рушить? После каждого удара земля осыпается в арык, и большую её часть уносит вода. Он снова ухает и бьёт. Уже развоpотил кусок грунтовой дороги шириной больше размаха рук.

– Чего стошь? – спросил он, остановившись и вытирая пот со лба правым рукавом старого, грязного пиджака с расползшейся подкладкой. – Как нам этот глоток воды поделить?

Однако воды было вовсе не так уж мало, чтобы назвать её «глотком».

– Когда закончите поливать? – Знаю, воды у него не выпросишь, но деваться некуда.

– Да разве мой пёс знает? – Он вытаращил глаза. – Если эти «утки» насытятся, и получаса не понадобится. Пойдёшь к колотке, постошь там – быстрее закончу. Кто-то ведро в неё заткнул. Два часа провозился, еле открыл.

«Утки» – это не место, где разводят уток, а название квартала у главного водозабора, вернее, прозвище. Их квартал зовут «Уткиным», а жителей – «утками». Потому что им воды никогда не бывает довольно: хоть для забавы, а всё открывают её себе. До того, что нижние участки сохнут и выгорают, им дела нет.

Бекмуродуп посмотрел на свои промокшие штаны.

Его можно понять: от двора до канала полчаса пути. Дворов много. В каждом норовят украсть хоть горсть воды. Пока он за ними присмотрит, сходит домой и вернётся, жители другого края успевают сунуть в колотку ведро, камень или пучок хвороста и убежать. Колотками люди называют места водозабора: кое-где под бетонным каналом проложены трубы, а над ними проходит дорога. Если что-нибудь застрянет в середине трубы, намучаешься, пока вытащишь, – света белого невзвидишь.

«Ладно, – подумал я. – Вернусь домой – мать будет ругать. Не лучше ли посторожить воду, поесть абрикосов, набить живот?»

– Тогда я к колотке, – сказал я. Похоже, легко отделаюсь. Иногда ведь сутками очереди на воду не дождёшься. – Как закончите, дайте знать.

Не дожидаясь ответа, я взвалил кетмень на плечо и пошёл. Сейчас ждать от Бекмуродупа ответа – всё равно что напрашиваться на неприятности. По тому, как у него дёргаются брови, вижу: злится, ему не до болтовни.

Мне спешить некуда. Иду, пиная уличную пыль калошами с обрезанными задниками. Такие калоши появились недавно. Литые. Люди называют их «докир-калошами». Наверное, за грубость; и цвет занятный – выцветший чёрный, бурый.

В такую погоду хуже калош обуви не придумаешь: в жару жгут ноги. Чтобы остудить, на них льют воду. Попадёт вода внутрь – долго не сохнут, хлюпают, ноги разъедает сырость. Сплошная морока. Но на наших улицах, когда мы вот так шляемся, никакая другая обувь не выдержит.

Залюбовавшись своими калошами, я шагаю неспешно, отсчитывая шаги, как землемер Алик!

Вдруг сзади раздалось Тешино «вах!». Я понял: это уже не брань в адрес Абила. Сперва подумал: в сердцах рубанул кетменём себе по ноге, – и обрадовался: вода достанется мне!

Обернулся – нет, не то, чего ожидал: он стоит посреди арыка и смотрит на воду, вытаращив глаза. Я замер. Бекмуродуп нагнулся и толкнул ком земли в воде. Решив, что он всё ещё бесится, я пошёл дальше.

– Эй, беги сюда! – крикнул Бекмуродуп, и в голосе уже не было ни злости, ни раздражения. – Смотри, что нашёл!

«Кувшин золота!» – вот что сразу пришло мне в голову. Потому что лет десять назад, когда я ещё ходил в детский сад, по кишлаку разнёсся слух: парень по имени Матмурод нашёл на западном холме кувшин золота и побежал домой, а Кобил-ака обманом забрал находку, дав ему пять рублей. Перед этим бульдозер три-четыре дня срезал верхушку холма. Позднее говорили, будто бульдозериста разбил паралич. Не могу доказать, правда это или ложь. Может, и было. Потому мои кишлачные сверстники росли с надеждой когда-нибудь найти на холме кувшин золота. Но никто пока ничего не нашёл. И вот теперь удача, будто людей больше нет, улыбнулась Бекмуродупу. Да ещё совсем не на холме!

Я заторопился. «Теша-ака поделится золотом?! Старики говорили, кто найдёт золото, становится дураком; надо немедля где-нибудь порезать себя, иначе можно свихнуться, как Матмурод. Где же мне себя порезать?! Ни одного лишнего места, где не было бы больно». На бегу калоша слетела с ноги и побежала впереди меня, горячая пыль обожгла влажную от пота ступню. Я не обратил внимания. Главное – скорее увидеть золото.

Но…

Когда я подбежал, Теша-ака стоял, разинув рот, и держал в руке что-то беловато-жёлтое.

– Что это? – спросил я, задыхаясь.

– Не знаю: то ли школьный скелет, то ли человеческая голова. – Теша-ака говорил, не в силах отвести глаз от своей находки.

Помню, в шестом классе учитель Эгам повёл нас в старое здание на краю школьного двора, которое называли «домиком», открыл древнюю двустворчатую дверь, ещё с дедовских времён, годами стоявшую запертой, и показал скелет. Одним тогда было смешно, другим стыдно, некоторым страшно.

Теша-ака поворачивает в руках кость, похожую на голову того скелета, разглядывает.

– Да, это скелет, – сказал я, успокоившись и собравшись с мыслями. – Учитель Эгам показывал. Внутри проволока, сделан из алебастра. Он так говорил.

– Кто, скелет? – Теша-ака уставился на меня.

– Учитель Эгам! – Я удивлён непонятливостью такого взрослого человека.

– Эгам ерунду говорил, это не скелет, это человеческая кость, – сказал он, поворачивая череп. – И проволоки внутри нет. Это чей-то мертвец.

Меня обдало холодом. Показалось, что кость в руках Теши-ака ухмыляется.

– Вот остальное. – Теша-ака положил череп на дорогу, в пыль, и концом кетменя стал разбирать кости, выступавшие из затвердевшей земли.

Я заметил, что лицо Теши-ака побледнело и он шёпотом начал повторять слова исповедания веры.

***

Начало XX века.

Коренастый молодой человек в грязных лохмотьях, с растрёпанными волосами и бородой спускается по склону. Вокруг тихо; чистый, влажный весенний воздух окрыляет. Лёгкий ветерок приносит откуда-то благоухание цветов и трав. Юноша идёт, устремлённый вдаль, с душой, полной мечтаний, с отвагой в сердце, поглядывает в бездонное, синее, необычайно чистое небо, переводит взгляд на сёла внизу: где теперь найдёт пристанище?

Но даже этот вопрос его не печалит. Ведь весна – пора надежд, мечтаний и веры в будущее!

Когда в горах растаял снег и пробилась трава, богач, у которого он всю зиму служил, отправил скот на вольный выпас в ущелье, и работы для юноши не осталось. Вот он и подался в нижние сёла искать заработок.

Повезло ему: в снежную, морозную зиму не остался на холоде. Теперь впереди лето, пора изобилия, как-нибудь проживёт. В нижних сёлах работа сейчас в самом разгаре, без дела не останется, на кусок хлеба заработает.

Он держит путь к селению у подножия холма, издали кажущемуся совсем крошечным. На плечо заброшен старый чапан – халат из бекасама – всё его достояние за последние годы; грудь открыта ласковой прохладе весеннего ветерка. И здесь он не собирается задерживаться надолго. Впрочем, об этом он никогда ни думать, ни мечтать не привык. Где бы ни оказался, одно на уме: найти работу на четыре-пять дней, наесться, прожить день. А дальше – как Бог даст.

Горькая судьба приучила его жить одним днём. Сытый живот, прожитый день, крыша над головой до утра – вот предел его мечтаний, цель, к которой он стремится. На большее он не смеет притязать. Даже в мыслях.

…Много лет назад именно так, с таким настроением Бекмурод вошёл в Гултепу.

Гултепа!

Многострадальный уголок скорбного мира!

Бекмурод обосновался в селе, батрачил, пережил вместе с людьми засуху, мор и прочие бедствия и уже думал, что всё это ушло безвозвратно.

Но показалась другая беда – разбой и смута.

Дом Бекмурода стоял близ горы, на окраине села, первым на пути горной воды. Правда, прежде вода проходила через селение у подножия холмов и доходила сюда, только если там её оставалось в избытке. По правилу «головы арыка» тот, кто ближе к истоку, пользуется водой сколько хочет, а остальные ждут. Бекмурод стоял во главе арыка, прав на воду у него было больше. Пока другие всё лето бегали, не в силах полить свои дворы, он раз-другой в месяц, пусть и украдкой, давал воду посевам.

Вообще-то сельчане не уступили бы пришлому парню такой удобный участок, но у места был изъян: зимой голодные волки, спускавшиеся с гор, заглядывали в первый попавшийся двор. Потому ему и не помешали поставить здесь хижину. Лучше уж летом раз-другой поссориться из-за воды, чем зимой лишиться скотины.

Пока Бекмурод не построил дом, вода сюда не поднималась. Здесь был пологий пригорок, рядом – овраг, заросший диким боярышником. Первые два года он жил в небольшой хижине из ветвей; потом братья, разузнав, где он, нашли его, собрали людей на хашар, наняли работников и выстроили ему дом.

Дом стоял на холме. Переднюю часть двора выровняли. За суфой он сажал овощи и люцерну. Люцерник переходил в виноградник: белый и чёрный кишмиш вперемежку, урожаи

отменные. Не было человека, который не заглядывался бы на этот виноград. Саженцы братья привезли из Чортута.

Чтобы провести сюда воду, Бекмурод выкопал арык длиной в пятьсот размахов рук. Поначалу люди смеялись: «Зря стараешься, кружкой поливать легче». Но он повёл арык издалека – оттуда, где вода ещё не падала в овраг.

Весь его родной мир – низенькая хижина из пахсы, обмазанная глиной. Слева – кухня, ещё меньше, вечно сырая, дальше – летний очаг под навесом и помещение с тандыром. Справа от дома – конюшня; здесь же, у её начала, калитка во двор и крытый въезд с небольшими воротами.

За конюшней – хлев. В нём едва помещаются корова, телёнок и четыре овцы. Перед домом, возле суфы, зеленеет вяз с густой округлой кроной: Бекмурод посадил его в тот год, когда пришёл сюда. Большое выросло дерево.

На третий год после своего прихода он женился на девушке по имени Бону. Она была из этого села. Родилось у них семеро детей – пять сыновей и две дочери. Старший, Нодир, уже достиг возраста первого мучала.

…Под вечер, возвращаясь с козами, Бекмурод увидел односельчанина Назара: тот сидел на большом камне возле его ворот.

Назар был его ровесником, рослым, круглолицым. Каждую зиму он выбивался из сил, тощал, словно собака, наглотавшаяся иголок, а весной, когда поспевала шелковица, отъедался так, что едва умещался в собственной коже.

Когда Бекмурод пришёл в село, они раз-другой подрались, а потом сдружились. С тех пор и хорошее, и плохое переживали вместе. Часто ходили на охоту. У Назара было чёрное ружьё, оставшееся от отца; стреляли зайцев, лис, всякую живность. Зимой охотились на кекликов. Назар видел плохо, стрелял неважно. Бекмурод же бил точно.

– Ну, чего сидишь на улице? – спросил Бекмурод, передав коз сыну и отправив его вперёд. – В дом зайти не мог?

– Зайду – и что? – проворчал Назар. – Будто у тебя четыре кило мяса нажарено, в кувшине припасено, и ты меня угощать собрался.

– Я к тому, чтоб ты у порога, как нищий, не торчал. – Бекмурод с тяжёлым «уф» уселся на соседний камень.

– Не уфкай, – наставительно сказал Назар. – Бога благодари. С голоду не умер, дом цел, хозяйство на месте… Проведать тебя пришёл…

Назар умолк и настороженно огляделся. Бекмурод почуял: дело тайное, сердце встрепенулось.

– Ну?

– Один-другой надёжный человек сказал: Полвон, мол, людей собирает. – Назар понизил голос почти до шёпота. – Ты как на это смотришь?

– В басмачи идти? – Бекмурод разочарованно остыл: тайна оказалась не такой, как ему представлялось.

– Не мели что попало, раз рот есть, – одёрнул его Назар. – У всякого дела своё название. Край свой защищать будем… Всё неверные заполонили, веру подтачивают.

– От твоих речей Комилом-безбожником пахнет.

– Ты меня с ним равняешь? – рассердился Назар.

– Что есть, то и говорю. Он недавно тоже что-то такое говорил. Только наоборот. «Кончились дни богачей, дома у них отберём», – твердит. У русских в стране, говорят, так и делают, – сказал Бекмурод.

– Он речами отступников народ с пути сбить хочет. Молодой ещё, зря пропадёт. Повезло ему, новая власть за него. А то мирзы и сами бы сговорились да придушили.

– Твои мирзы умеют только бедняка давить да деньги наживать. А драться с кем-нибудь – куда им.

– Ладно, не спорь, – Назар был недоволен тем, что разговор ушёл в сторону. – Пришёл к тебе как к близкому другу. Коня, новое оружие и саблю, говорят, даром дают. Ещё и чапан из бекасама. Нынче и родной отец так не расщедрится.

– Мой отец к матери ушёл – ох, сколько уже лет прошло… – пошутил Бекмурод.

Много времени миновало; теперь о смерти родителей можно даже пошутить.

– Я так, к слову… – Назар сбавил пыл и продолжил уже тише. – И жалованье есть… На детей своих погляди: штаны из бязи – живого места для заплаты не осталось. Сейчас лето, вот ты и хорохоришься. Да зима не на небе зимует, скоро явится, саблю наточив. Если в хлеву овец нет, на четыре-пять мешков зерна с поля, на урюк да изюм не надейся. Детей пожалей, говорю. Сегодня сам не пойдёшь – завтра заставят. Ты ведь наездник, тебя в покое не оставят. От этой заварухи в стороне не отсидишься.

– Мне в басмачи податься? Не по мне людей грабить!

– Эй, опять за своё, а?! Кто сказал – «басмачи»? Народ, веру мусульманскую защищать будем, дурья голова.

– Прост ты, ох и прост! – Бекмурод уставился на него. – Что ни скажут – всему веришь, ещё и других убедить норовишь. Люди ради своей выгоды чего только не наговорят! Ты теперь это по всем улицам разносишь?

– Говорю как есть. – Назар приуныл, поняв, что высокими словами друга не проймёшь. – Человек и себе цену знать должен… На весь гузар одни грязные штаны. Долго будем жить: вот, мол, очередь подойдёт, и я свои штаны постираю? У мужчины гордость должна быть… Хоть по двое штанов заведём. Или ты так и помрёшь в половине латаных шальвар? Обидно ведь человеку…

– Значит, за штаны воевать будем? – усмехнулся Бекмурод.

– Да пропади ты! Что за человек, что за речи! – обиделся Назар.

Бекмурод отпроводил Назара резкими словами: не хотелось нарушать свой покой.

Когда вошёл во двор, на душе было так темно, что никакой светильник не помог бы.

***

На западной окраине села, возле холма, за четыре-пять лет до начала засухи жила Ойсара-хола с сыном по имени Бозор.

Она рано овдовела: муж погиб, упав с коня на купкари – конном состязании. Оставшись с четырьмя детьми, замуж больше не вышла. Трое детей умерли во время мора. Когда единственный оставшийся сын, Бозор, возмужал, она женила его на девушке из соседнего села – худенькой, белолицей, тихой и скромной Нисо. Жили они мирно.

Беда стряслась внезапно: Ойсара-хола поссорилась со своей сварливой соседкой Саломат-момо. Такие ссоры бывали часто, обе к ним привыкли, но на этот раз дело коснулось чести. Посреди перебранки Саломат-момо зашла к себе и вернулась с женскими шароварами Нисо, пропавшими три дня назад:

– Твоя невестка с моим сыном шашни крутит, вот доказательство! – И швырнула шаровары Ойсаре под ноги.

Ойсара-хола не нашлась с ответом: что скажешь на такую бесстыдную клевету?! Если бы тут Бозор не вернулся с поля, ведя коня в поводу, возможно, ничего бы и не случилось: всё прошло бы тихо, соседки подулись бы друг на друга месяц-другой, потом помирились, затем снова поссорились – так и жили бы дальше. Но Бозор услышал обвинение, увидел «доказательство» и застыл возле дома, переводя взгляд с матери на продолжавшую верещать Саломат-момо.

– Мать, я вашу невестку выгоню, – сказал он, едва сдерживаясь, и привязал коня к колу у края двора.

Бозор такого не ждал, даже помыслить об этом не мог и теперь, ошеломлённый, не знал, что делать.

– Ты в своём уме? – Ойсара-хола старалась держать себя в руках, но дрожь унять не могла. – Разве из-за слов одной дуры жену выгоняют? Это же бабьи сплетни. Ничего не было.

Выгонять невестку она не собиралась: хорошо её знала. И соседку не сегодня впервые увидела. Немало у той подобных выходок, совести от неё не дождёшься.

Но Бозор заупрямился. Ведь честь его растоптали.

– Правда, неправда – всё равно, мать, – с горечью выпалил он. – Меня опозорили. Завтра эта старуха всё село своей брехнёй провоняет. За кого меня будут держать? Как я людям в глаза посмотрю? Не стану же каждому объяснять, что ничего не было. Кто мне поверит? Не хочу всю жизнь быть посмешищем…

– Голова у тебя есть? Знаешь, что это клевета, и всё равно жену выгнать хочешь?! – Мать не могла понять упрямого сына.

Они долго спорили.

Бозор понял: жить в селе ему больше невмоготу. От клейма этих пересудов не отделаться. Зашёл в дом и, даже не взглянув на жену, которая не прожила здесь ещё и года и теперь стояла, застыв от изумления, не понимая, что происходит, снял чапан с верха тахмона, сел на коня и простился с растерянной матерью.

Ойсара-хола долго умоляла сына – напрасно. В ответ услышала только: «Живите сами со своей любимой невесткой. Моя честь не позволит мне больше оставаться в этом селе».

Уехал и не вернулся.

Нисо не ушла в отцовский дом, за другого тоже не вышла. Детей у неё не было; две беззащитные женщины прожили так пять-шесть лет, поддерживая друг друга. Тяжёлые для женщин стояли времена: голод, засуха принесли им немало страданий.

Когда жить стало совсем трудно, Ойсара-хола по ночам сетовала на сына, бросившего их в таком положении, ругала его за глаза. Но что поделаешь? Что могла беспомощная женщина?!

Она сходила погадать к старухе-мултони, жившей в хижине возле села Нисбот. «Твоя недоброжелательница заговорила кладбищенскую землю и рассыпала у тебя во дворе, вот сыну этот дом и стал немил, он и ушёл», – сказала гадалка. Велела принести голову белого барана. Ойсара-хола сделала всё, как было сказано, но Бозор не вернулся.

Засуха кончилась, пришло изобилие, времена переменились, и о её сыне всё чаще стали ходить разные слухи. Говорили, в одном из нижних сёл появился какой-то мулла из Бухары, очень похожий на Бозора, но называет себя Гадой-муллой. Ойсара-хола его не видела, расспрашивала людей, но встретиться так и не смогла. Женщина – всё равно что без рук, без ног: ни на улицу свободно выйти, ни к кому-нибудь пойти расспросить…

Пока старая боль в ней оживала, пока сердце горело надеждой увидеть сына, получить о нём хоть какую-нибудь весть – хорошую ли, дурную ли, – в этих краях и в самом деле появился скромный, сведущий в вере человек по имени Гадой-мулла.

Это был Бозор!

Уйдя тогда из дома, он немало натерпелся, скитался с места на место. Видно, так было предначертано: через год странствий добрался до Бухары. Сперва служил в доме ишана, духовного наставника. Позднее ишан, заметив, что слуга грамотен и тянется к знаниям, отдал его учиться в медресе. Бозор жил при одной из городских мечетей. За то, что у него ничего не было и кормился он подаянием, люди прозвали его Гадоем – Нищим.

Через некоторое время он познакомился с путником по имени Узок-ака, тоже ночевавшим в мечети, и узнал, что тот родом из его краёв, из-под Ургута, и занимается торговлей. Из Бухары возил шёлк, атлас, кожи.

Гадой-мулла назвался кокандцем. Сказал, что родители умерли, никого у него нет, идти некуда, вот и живёт при мечети, добывает себе пропитание.

Парень пришёлся Узок-аке по душе, и тот поведал ему о своих горестях. За два года у него от малярии умерли четверо детей. Дома осталось шестеро дочерей.

Узок-ака уговорил Гадой-муллу поехать в Ургут: говорил, в их краях мало учёных людей. И самому мулле хотелось узнать, как сложится жизнь дальше; надоело вдали от родины, без родных и близких скитаться на чужбине.

Вместе с Узок-акой мулла вернулся в родные края. Но в село, где родился и вырос, не пошёл. Бесчестье тяжелее смерти – что скажет, если придёт? Даже если давние обиды забылись, какое-то смутное чувство преграждало ему путь.

У Узок-аки был свой расчёт: старшая дочь выросла, пора выдавать замуж. Сыновей нет, нужен зять. А здешние парни жить в доме жены не соглашались – вот он и тревожился. Поселит у себя мужа старшей дочери, тогда остальных спокойно выдаст, одной заботой станет меньше. Кто знает, представится ли ещё такой случай?

Мулла человек неплохой, станет зятем – поперёк его слова не пойдёт. Главное, есть у него ремесло – знание. Таких в народе уважают: ни в дороговизну, ни в голод без крова не останется, унижения не узнает. Значит, за дочь можно будет не тревожиться.

На другой день после их приезда в село к ним заглянул сосед-старик: худой, чуть сутулый, с совершенно белыми волосами и бородой, в яктаке и калошах. Пришёл повидать гостя. Поздоровались, уселись вокруг дастархана, и старик заговорил уныло, с долгими паузами:

– Узок, не обессудь, поздновато зашёл… Внук тяжело болен… Возле него задержался… Куда только не возил – всё без толку… Лицо, губы, щёки всё сильнее опухают. Табибы лечить не берутся… Ишан-бобо читал над ним – не помогло…

Наступила тишина. Наконец старик, словно желая рассеять уныние, которое сам же и навёл, искоса посмотрел на муллу – мужчину лет тридцати с загорелым лицом, взлохмаченными волосами и бородой.

– Этот парень из наших? Похож… – сказал он.

– Нет, – ответил Узок-ака. – Из Коканда… В Бухаре учился… В медресе!

– Ах, гость, гость… Простите… Очень уж на наших похожи…

– Ну, да… – неопределённо отозвался мулла.

Сотим умолк, потом вдруг повернулся к Узок-аке:

– Говоришь, в медресе учился? А молитва у него сильная?!

Мулла покраснел и опустил глаза на дастархан.

– Ну и вопросы у вас… – Узок-ака уклонился от прямого ответа.

– Тогда я сбегаю за внуком, пусть над ним почитает…

– Вы ведь… табибы… – Узок-ака не находил слов, не решался сказать прямо.

– Если Бог пошлёт исцеление, что ж…

Сотим поднялся с неожиданной для его возраста проворностью и выбежал.

– Не обижайтесь, гость, наши люди такие: в учёного человека очень верят…

– Я ведь никогда прежде над больными не читал, – смущённо сказал мулла.

– Ну, хоть для виду пошепчете, подуете… Не откажите старику, он мне близкий сосед…

Скоро Сотим принёс на руках обессилевшего мальчика лет четырёх, который тяжело дышал от жара; лицо у него распухло и стало широким, как хлебная лопата.

Краснея и бледнея, мулла читал молитву – то вслух, то шёпотом. Читал долго: боялся, что, если слишком скоро закончит, старик, пришедший с надеждой, разочаруется. К концу молитвы мальчик потихоньку открыл глаза, посмотрел на дастархан и потянулся к блюдцу с чёрным изюмом. Глаза Сотима вспыхнули, но он сделал вид, что ничего не заметил. Мальчик взял в ладошку четыре изюминки и отправил в рот…

Наутро Сотим пришёл с большим узлом.

– Это вам, – сказал он, положив узел перед муллой, сидевшим в гостевой комнате. – Внук мой уже бегает! Сильная у вас молитва, да не сглазить бы.

Мулла, сам изумлённый и растерянный, узла не взял.

– Внуку отдайте, – сказал он.

– Вы ещё не знаете, какое добро нам сделали! – горячился старик. – Мы с внуком уже простились… Вы его к жизни вернули!

Мулла не верил, что мальчик выздоровел, что выживет. Если старик говорит правду, столько людей не смогли его вылечить – откуда же взяться силе у его молитвы? У молитвы бродячего парня, у которого и гроша в кармане нет! А вдруг через день-другой болезнь вернётся – что обо мне тогда подумают? Он так и не принял узла.

– Ладно, будь по-вашему, – согласился старик. – Вырастет этот молодец живым-здоровым – послужит вам!

Сотим оказался разговорчив. Вскоре по окрестностям разнеслась весть: «Из Бухары большой мулла приехал, молитвой любую болезнь лечит». Одно слово «Бухара» уже внушало людям уважение и доверие. В этих краях редко встретишь того, кто учился в медресе: людям за заботами некогда было отдавать детей в ученье.

Уважение к мулле росло день ото дня: кто приводил больного ребёнка, чтобы он почитал над ним, кто сам просил исцеляющей молитвы… У людей много недугов.

Мулла стал читать молитвы над страждущими. Там, где ни власти надёжной, ни знающего табиба, нужен ведь хоть кто-нибудь, кто выслушает чужую боль, даст совет и веру в завтрашний день!

Узок-ака в расчётах не ошибся. Даже когда в следующую поездку в Бухару попал по дороге к разбойникам и торговля его пошла прахом, особенно не горевал.

Другая его затея шла как задумано.

***

Ниже Бекмуродова двора, в доме, обращённом к горе и обнесённом пахсовой стеной, живёт с матерью высокий, худощавый юноша – Раззок. Его старший брат в голодные годы ушёл на заработки «внутрь» и не вернулся (так здесь называют земли ближе к реке; сами прибрежные места зовут «дайраободом», а тамошние жители эти края – «адиром», здешних людей – «адирцами»). Говорили, заболел малярией и умер. Отец пять лет назад скончался от неведомой болезни. Двоих младших братьев поглотил голод.

Такие тяжёлые несчастья выпали на долю Раззока, которому ещё не было восемнадцати. Но он не пал духом. От природы весёлый, шутливый, он любил вставлять в разговор пословицы.

Только определённого мнения у него не было. Кто бы что ни сказал – нравится ему или нет, согласен он или не согласен, – отвечает: «Ладно». Заботится о том, чтобы не огорчить собеседника.

А его ровесник Комил, с которым они росли вместе с малых лет и который живёт через один двор, – совсем другой человек. Отец Комила, Санокул-ака, с виду грубоват, но детей любит по-особому. По пустякам их не бранит. То ли считает себя неграмотным невеждой, то ли сомневается, что своими наставлениями сможет вывести их к лучшей жизни, – во всяком случае, в их дела не вмешивается: пусть сами выбирают дорогу. Лишь бы всё по дому и по двору делалось вовремя!

Эти двое, едва вступившие в пору возмужания, хорошо понимают друг друга, поверяют друг другу тайны.

– Раззок, дурак ты, – сказал Комил, сидя на траве у арыка. – Другие времена пришли, кончилось время мирз. Эй, у тебя пословица была, зимой на посиделках у Мурода говорил, как же там? Про одни штаны на троих…

Раззок усмехнулся:

– А, эта? «…Когда же зиму переживём?»

– Во, она! Теперь самое время из зимы выбраться. Наше с тобой время пришло. Кто понимает, тот чего-нибудь добьётся, а кто не понимает – так и будет болтаться, как собачья задняя нога.

– Твоё время пришло? – рассмеялся Раззок. – Ну и загнул! Твоё-то?! Говори что-нибудь путное… Лучше о девушках расскажи… Вчера слышал, отец твой ругался: «Не женю этого окаянного – он ещё какую-нибудь беду натворит».

Комил покраснел.

Он был среднего роста, полноватый, желтолицый, безбородый. Голову брил наголо и оттого казался ещё подростком. Раззок, напротив, был высоким, худым и смуглым. Лицо его покрывал тонкий, редкий волос. К этой новизне – всё гуще растущим усам и бороде – Раззок никак не мог привыкнуть и считал себя самым некрасивым парнем на свете. Завидовал Комилову гладкому, словно у ребёнка, лицу и с досады всякий раз ворчал: «До сорока безбородый хорош, после сорока – лучше бы помер».

В прошлом году Комила отправили в город учиться торговле, дав с собой полмешка зерна. Старый знакомый отца, торговавший в городе, сказал: «Отдай мне сына, обучу торговле, заодно и грамоту освоит», – и увёз его.

Комил прожил в Самарканде почти год, но разбогател куда меньше, чем ожидал отец. Люди, бывавшие в городе, стали приносить всякие сомнительные вести, и отец отозвал его домой. Да поздно спохватился: в городе Комил водился с безбожниками, взгляды у него переменились. Теперь он всякими несуразными речами действовал людям на нервы. Изредка его приезжали разыскивать какие-то странные, на русских похожие люди.

Оба ещё не женаты. Ждут своей судьбы и того, когда у родителей появятся деньги.

– Отец на улице много говорит, а толку нет, – вздохнул Комил. – Среди наших ровесников все уже женились, только Раим, ты да я остались… Вообще-то и не жениться лучше: себя прокормить не можем, куда уж жену с детьми?

– Один караван – один удел, тысяча караванов – тысяча уделов, – изрёк Раззок. – Бог, который жену даёт, даст и чем её кормить.

– Отобрать бы у мирз всё добро да землю – вот тогда хорошо заживём.

– Опять за своё? – Раззоку это не понравилось. – Разве с мирзами совладаешь? В один прекрасный день горло перережут.

– Если будем вот так сидеть да языками молоть – конечно, не совладаем, – рассердился Комил. – Не понимаешь ты, друг: те времена прошли. Всю жизнь в селе просидел, вот и думаешь, что другой жизни нет. По-твоему, у оврага и Гултепа кончается, и весь свет. Друг, за тем холмом тоже жизнь есть, мир есть, там тоже такие, как ты да я, живут. В городах богачей уже обобрали, а мы ещё их тени кланяемся.

Пожив немного в городе, Комил ставит себя выше других, старается жить по-новому, а тех, кто не следует его примеру, считает отсталыми.

И в тот день они проговорили до темноты. Перед уходом Комил решился открыть душу:

– Раззок, друг, у меня большой секрет. Если скажу, не проболтаешься? – Он запнулся, замялся.

– Ты когда-нибудь видел, чтобы я лишнего болтал? – Раззок сделал вид, что обиделся.

– Ладно… – Комил мялся. – Как бы тебе сказать… Есть ведь… тот мельник, Туйчи, я с его женой поговорил.

В прошлом году мирзы откуда-то привезли женщину по имени Жамил (верно, Жамила, просто для удобства сократили) и выдали за своего мельника Туйчи. Он жил по соседству с Комилом. Об этой женщине парень теперь и говорил.

Он умолк. Раззок ждал. Наконец не выдержал:

– Ну, чего мнёшься? Растерялся, как девушка, к которой сваты пришли!

Ему не терпелось: чувствовал, история интересная.

– Сегодня утром у неё телёнок отвязался, я помог поймать. «Ночью мужа дома не будет», – сказала. На мельницу уйдёт.

– Вот так, ни с того ни с сего, и сказала?! – Раззок оживился.

– Ты в своём уме?! Сперва я про мужа спросил, она и сказала: «Работы много, его сегодня ни весь день, ни ночью не будет». – Рассказав половину, Комил почувствовал облегчение.

– Ну и что с того? – Раззок остыл.

– А если ночью вместе пойдём?!

– На мельницу?

Раззок испугался: «Друг за горстку зерна на убийство подбивает», – мелькнуло у него.

– Глухой ты, что ли? – огрызнулся Комил. – На мельнице нам что делать? К ней домой!

Он понимал, что предложение подлое, но упустить такую удобную возможность не хотел.

Многие говорили, что жена Туйчи – женщина беспутная, уже двоих мужей со свету сжила, и только третий сумел уйти от неё живым. Будто бы она любовница известного в этих краях Даминбека, у которого около пятидесяти сарбазов. Говорили, и смерти её мужей устроил он. Однако здесь, в селе, Жамил ни за чем дурным не заставали.

Слава этой женщины будоражила мужчин в окрестных селениях, притягивала их, словно магнит. Друзья тоже немало об этом говорили, и теперь Комил наконец решил осуществить свой нечистый замысел.

– А какая она? Лицо вблизи видел? – Кровь Раззока забурлила. – И вправду красивая?

– Ещё какая! Наших лет… Может, постарше. Лицо белое, как молоко, кожа чистая-чистая, пухленькая… руки полные, глаза большие, чёрные-чёрные… – Комил описывал женщину, причмокивая. – А руки до того мягкие: когда верёвку от телёнка брала, моей руки коснулась – сердце чуть не разорвалось, чтоб мне умереть.

– Она сказала: «Приходи вечером»? – снова спросил Раззок с горящими глазами.

– Голова у тебя есть? Сразу видно, в городе не бывал. Женщина намекает. Есть соображение – поймёшь, а нет – так и будешь стоять, как телёнок моей тётки.

– В городе много было? – спросил Раззок, отвлёкшись.

– Эге-ге! – Комил уклонился от ясного ответа.

– Значит, верно говорят: город бесстыжим принадлежит, а? А как это вообще бывает? – продолжал Раззок задавать глупые вопросы.

– До чего ж у тебя разговор пресный, – обиделся Комил. – Ночью со мной пойдёшь – узнаешь.

От нежданного счастья сердце Раззока чуть не выскочило из груди: «Неужели?!»

– И я тоже?! – спросил он торопливо. Потом вспомнил о собственной драгоценной жизни и поумерил пыл. – А это не опасно?

– Нынче и телёнка пасти опасно… Ну, значит, договорились, – сказал Комил, протягивая руку. – Не усни, я позову.

Друзья простились.

***

Подул лёгкий ветерок, и Бекмурод провеял зерно, которое четыре дня молотил, гоняя скот по току. Получилось десять мешков пшеницы. Меньше, чем рассчитывал, но если расходовать бережно, до весны хватит. Ещё козы окотятся. Будут молоко, простокваша… И изюм будет… Что ещё нужно бедняку?

Вместе со старшим сыном он перенёс мешки в тёмную кладовую – так называли поперечную комнату в доме, без окон, с одной дверью, сырую и тёмную зимой и летом, – и сложил их там.

– В этом году мы не будем голодать, да, отец? – спросила его любимица Иззатой, поглаживая мешки маленькими ладошками.

– Нет, дочка, – радостно осклабился Бекмурод. – Заживём хорошо. Острижём коз, мать напрядёт шерсти и тебе платье сошьёт.

Бекмурод поел похлёбки, которую жена приготовила из толчёной пшеницы нового урожая, вытянул ноющие руки и ноги и сладко уснул на суфе под карагачом. За последние дни он много работал, надорвался. Наконец сбросил с души тяжесть дела, давившего на неё неподъёмным грузом, и, почувствовав облегчение, спал как убитый.

Среди ночи его разбудили страшные голоса. Жена трясла его за плечо. Суфу обступили пять или шесть всадников: лошади фыркали, звенели удилами, с глухим топотом били землю копытами. Всадники размахивали в темноте руками и что-то кричали. Бекмурод не мог понять, что происходит. «Наверное, сон», – подумал он и, желая поскорее избавиться от него, принялся тереть глаза. Но это была горькая явь! Наконец он пришёл в себя. Всадники стояли вплотную к суфе. Дети, перепуганные, лежали без единого звука, спрятав головы под одеялами.

Бекмурод поднялся, застегнул расстегнувшуюся на плече пуговицу рубахи, поправил перекрутившиеся шаровары и пошёл к всаднику, стоявшему у него в ногах. Остановился почти у самой лошадиной морды:

– Кто ты? Что тебе от меня нужно?

Он уже понимал, кто они и зачем пришли, но где-то в уголке души ещё теплилась нелепая мысль: «Может, с дороги сбились».

– Подать собираем, – сказал всадник, отводя взгляд от блестевших в темноте глаз Бекмурода.

– Уже забрали. Десять дней назад пуд пшеницы отдал. – Лошадь вытянула морду, обнюхивая его лицо. Бекмурод отступил. – За податью днём приходили…

– Не умничай, – сердито взмахнул плетью соседний всадник. – Язык тебе лишний? Отрежем вместе с твоей дурной башкой.

Бекмурод знал: сопротивляться бесполезно. Скажи ещё одно-два слова – тут же пристрелят. В темноте смутно виднелись ружья и сабли.

– Ничего у меня нет, – уныло сказал Бекмурод. – Только три козы. Если и их заберёте, дети с голоду умрут.

– На что нам твои козы? Вчерашнее зерно выноси. Лошадей кормить нечем.

Бекмурод понял: кто-то донёс, потому и пришли. Про вчерашний урожай знают. Выходит, и в такой деревне, где все друг друга знают и, кажется, готовы друг другу помочь, есть предатели!

– Я думал, нам с детьми до весны хватит. Ладно, будем поменьше есть. Один мешок дам.

Хотя сердце у него разрывалось, Бекмурод согласился сразу. Он знал: начни упрямиться – только повод дашь. Пошёл к кладовой. Двое всадников спешились и последовали за ним. Остальные собрались верхом возле дома. Всего их было девять.

Зажгли факел и, мучая Бекмурода мельканьем огня перед глазами, терзая ему сердце, вынесли из тёмной комнаты семь мешков пшеницы и навьючили на лошадей.

– Чего вылупился? – Один из пришлых поднёс факел к лицу Бекмурода, который не находил себе места, глядя, как уносят его добро. – Трясёшься, будто душу из тебя вынимают. Подумаешь, семь мешков зерна!

– Братья, – сказал Бекмурод, хотя они были моложе его. – Побойтесь совести! Этим девяти душам кормиться. Нам же зиму не пережить… А вы лошадям скормите…

Бекмурод растерялся, не зная, куда деваться от ненависти, гнева и страха. Руки сжались в кулаки, он едва сдерживал себя. Но что он мог сделать? Впервые чужие люди творили насилие в его священном убежище – в семье. Тяжело терпеть такое унижение… Кем он стал теперь в глазах дрожащих от страха детей? Как они поймут, что тот, кто должен их ободрить, сам застыл деревяшкой?

– Что ты, дурак, понимаешь! – замахнулся на него державший факел. – Мы ради тебя, ради твоих детей вот так по ночам скрываемся, жизнью рискуем. Здоровенный мужик в такое время у жены под боком лежит, да ещё плачет… Каждый, кто считает себя мужчиной, борется, чтобы очистить страну от неверных. А тебе зерна жалко. Негодяй!

Он вскочил на коня и выехал за ворота, увлекая остальных за собой.

Бекмурод ещё долго стоял неподвижно. Вообще-то он не был таким трусом, но тогда не смог выговорить ни слова. Там, перед налётчиками, подумал: «Всё, наверное, убьют». А теперь не знал, чему отдаться: радости, что остался жив, или гневу, что семью лишили годового пропитания. Ведь столько трудов пошло прахом, надежды, мечты, уверенность – всё разбилось вдребезги…

Он сел на глинобитную суфу – возвышение во дворе – и вытер влажные глаза подолом рубахи, пропахшим потом. Давно уже этот труженик не плакал!

Так и сидел, погружённый в мысли. Вспомнил надежду своей любимицы – и обида подступила к горлу. С поздней осени до середины лета то стерёг посевы от скота, то спорил из-за воды; с каким трудом жал созревшую пшеницу, выпрашивал у соседей ослов для молотьбы, провеивал зерно, весь в пыли, – и оказалось, что всё это делал на удовольствие совсем чужим людям. Плоды стольких трудов достались грабителям. А ему снова думать, как провести детей через зиму живыми и здоровыми. Только что ведь решил: наконец избавился от этой тревоги!

Прежде он не был таким чувствительным. С каждым днём, думая о детях, об их мечтах и заботах, становился всё мягче сердцем. Душа помрачнела при мысли о тяжких испытаниях и трудностях, которые приготовит им жизнь. Очень, очень тяжело жить в мире, построенном на силе и насилии. Он-то ладно, как-нибудь справится, а как будут жить его дети? Они так простодушны, доверчивы и ранимы!

Долго просидел он так. Может, и до рассвета не сдвинулся бы, но жена сказала с недовольством:

– Что с вами? Почему молчите?

Услышав мать, дети тоже подняли головы.

– Не знаю… – Бекмурод встал и подошёл к постелям. – Не горюйте. До зимы что-нибудь придумаем, ещё изюм будет… Живы ведь остались. Спите. Остальное утром решим.

На самом деле Бекмурод успокаивал собственное сердце.

Всё длилось недолго, промелькнуло и исчезло, как страшный сон. Но след оставило тяжёлый. Бекмурод понял: вот так, за две-три минуты, человека могут убить; эти минуты могут совершенно изменить жизнь, судьбу, мысли.

***

Ночь стояла непроглядная.

Хотя от мысли о предстоящем у Раззока трепетало сердце, он досадовал на приятеля: не мог выбрать для такого дела ночь посветлее? В этой тьме дальше собственного носа ничего не разглядишь.

– Слепой слепого в темноте находит, как говорится. Какая нужда именно сегодня в чужой дом соваться? – ворчал Раззок, держась за подол Комила. – Если собака есть, сожрёт нас. В темноте и убежать не сумеем.

– Не ори! – шёпотом прикрикнул Комил, ощупывая ногой землю. – И с таким сердцем ещё парнем себя называешь… Нет у неё собаки… В нынешнее неспокойное время так и помрёшь, не узнав, что такое женщина…

– А если муж дома? Зарежет ведь! – Раззок тревожился за свою драгоценную жизнь.

– Не бойся! Я проверил. На мельнице работает, весь в муке. Ему ещё долго возиться.

Комил подтолкнул его, словно давая понять: разговор окончен. Раз пять или шесть обошли они старый низенький глинобитный дом, доставшийся Туйчи от деда, и, не заметив внутри ни движения, ни подозрительного шороха, перелезли во двор через размытый дождями и сне-

гом участок стены, где не осталось утрамбованного навершия. На приусадебном участке рос виноград. Пригнувшись, они пробрались по арычку между лозами к суфе.

– Ложись! – Раззок, улёгшийся возле толстого виноградного ствола, потянул за рукав Комила, стоявшего рядом столбом. – Кто-нибудь увидит.

– Одежду запылю… – Комил выдернул рукав и оглядел землю под ногами. – А если змея какая-нибудь?!

На суфе и в айване было тихо, ни малейшего шороха. «Наверное, в комнате спит», – подумал Комил, разглядывая двери и прикидывая, какую открыть.

У него самого всё внутри дрожало, сердце от страха колотилось, но похоть и любопытство пересиливали любую опасность.

– Ты здесь караулишь. Заметишь что-нибудь – свистни и беги. Понял? Только домой не беги, ни в коем случае: узнают. А я войду, сделаю дело и выйду.

– А я? – Хоть от страха у Раззока и пропала охота, надежда в душе ещё не погасла.

– Погоди, куда так торопишься? Это тебе не покойников обсуждать да пословицы сыпать. Если всё хорошо пойдёт, сам позову… Смотри, не разевай рот, не погуби меня.

Комил, нащупывая ногой землю, направился к айвану, а Раззок остался на месте. Страх едва не разрывал ему сердце; он понимал, что затея добром не кончится, но непонятное любопытство и смешанное со страхом волнение не давали покоя. Для Комила же всё это было игрой: и прежде безрассудный, за недолгую жизнь в городе он совсем переменил свои взгляды. Повидав город, ставил себя выше других и держался так, будто приобрёл нравственное право нарушать и попирать любые правила, нужные и ненужные.

В доме было три комнаты с двустворчатыми дверями. Комил поочерёдно осторожно потянул каждую. Остановившись перед той, что была заперта изнутри на засов, махнул в темноте Раззоку: мол, она здесь. Приятель не увидел и даже не уловил этого жеста; понял лишь, что его «соучастник» застыл у двери густой тенью.

Комил тихонько потянул дверь – внутри стукнул засов. Потянул сильнее; теперь звука не было, зато стало ясно: заперто крепко. Заглянул в щель: сплошная тьма, ничего не видно. Растерялся. Хотел было постучать, но тут же передумал. Жамил проснётся – и всё пропало. Она ведь ничего ему не обещала. Что он ей скажет? Другое дело – ворваться, пока спит, и крепко обхватить. Пусть бьётся, ничего не сделает. А ещё, прежде чем она проснётся… Впрочем, он и сам не вполне представлял, что дальше. Хоть и хвастался перед друзьями, женщин видел только под паранджой.

Он принялся с силой расшатывать дверь, пытаясь высвободить её из креплений. Сколько провозился – не знал: от волнения потерял счёт времени. Изнутри донеслось приятное, сонное женское «кто?» – и его словно окатили холодной водой. Не зная, что ответить, он с силой рванул дверь. Та не открылась; внутри испуганно закричала женщина. Комил, совсем растерявшись, повернулся и бросился наутёк. Раззок, лежавший на гряде под виноградом, не знал, вскочить ли и бежать следом или по-прежнему лежать, вжавшись в землю. Комил со страху забыл о закадычном друге, но везение его быстро кончилось: у калитки он зацепился ногой за что-то и с грохотом упал. Его болезненное «ох!» услышал и Раззок.

С улицы донёсся топот копыт, и сердце Раззока ушло в пятки. «Пропал, – подумал он, лёжа на земле. – Туйчи едет. И меня, и Комила искромсает».

Раззок отполз назад, согнулся вдвое и, забыв даже о змеях, забился под виноградный куст, натянув на себя лозы.

За стеной обозначились силуэты лошадей. Всадники услышали крик женщины, подъехали к калитке и заглянули во двор, освещая его факелом. По эту сторону стены лежал Комил, охая и держась за ушибленную ногу.

– Не шевелись, стрелять буду! – рявкнул чей-то густой голос. Лязгнул ружейный затвор.

– Не стреляйте! Я упал, ногу сломал, – простонал Комил.

Один из всадников спешился, открыл калитку, вошёл во двор и склонился над Комилом, держа в одной руке ружьё, в другой – факел.

– Ты что здесь лежишь? – Свирепый бородач пнул носком сапога Комила, казавшегося совсем мальчишкой. – Посцать вышел?

– Мимо шёл, споткнулся, – растерянно ответил Комил, едва выговаривая слова и кусая губы от боли.

Вооружённый человек понял, что парень не из этого дома, и пнул его снова:

– Зачем через чужой двор ходишь? Это ведь дом Туйчи? Того Туйчи, что муж Жамил?

– Да!

– Что ты тут с чужой женой забавляешься? Где Туйчи?

– На мельнице, – сказал Комил и тут же прикусил язык.

– Эй, идите сюда! Негодяя поймал, с чужой женой путается.

Двум спутникам всадника, видно, захотелось зрелища: они сразу оставили лошадей на улице и вошли в калитку. Комил поднялся и, согнувшись, принялся растирать ушибленную ногу. Так и стоял, думая, что теперь делать. От прежнего его настроения, когда глаза налились кровью, не осталось и следа. Жалкий…

– Что ты с женщиной делал?!

Кто-то задал дурацкий вопрос. Комил помолчал, не зная, что ответить, и вдруг, ни с того ни с сего, выкрикнул в исступлении:

– Ничего! Чтоб мне умереть, ничего! Дверь изнутри заперта. Не верите – сами посмотрите!

Все вокруг дружно расхохотались.

– Ты знаешь, что эта женщина нашему курбаши принадлежит? – Один из них сдержал смех и грозно прикрикнул на него. – Узнает – голову тебе оторвёт.

Он пнул Комила под зад, и тот споткнулся.

– Ну что, разбудим народ, пусть обоих камнями побьют? – спросил кто-то писклявым голосом.

– У тебя голова или тыква? – отверг эту мысль другой. – Ты помнишь, в каком мы положении?

Комилу это понравилось… Пинками его вывели на улицу. Двое пошли к айвану и постучали в дверь, которую он пытался открыть:

– Кто здесь?

– Я, – ответила женщина. – Дома никого нет.

– Никто не беспокоил?

– Кто-то приходил. Кажется, убежал.

– А мы тебе не нужны?

– Чтоб ты сдох со своим «не нужны»! – одёрнул его товарищ, чуть понизив голос. – Такое разве спрашивают, дубина?

– Нет, – поспешно сказала женщина. – Сейчас муж придёт.

– А мы твоего мужа не боимся, – почему-то сказал тот, кто только что одёрнул товарища.

– Ладно, пошли, – другой потащил его за собой, не слушая уговоров: «Постой, может, что-нибудь выйдет».

– Курбаши услышит – головы не сносить, – сказал один из них, выходя в калитку.

Раззок продолжал лежать, затаив дыхание. Так и не шевельнулся до рассвета. Боялся и ждал, что придёт Комил и позовёт его. Но от того не было ни слуху ни духу.

Наконец, когда забрезжило утро, он поднялся, перемахнул через стену и стремглав помчался домой.

***

Авторитет Гадой-муллы всё рос. Пришли двое аксакалов, предложили стать имамом большой мечети в Ургуте. Мулла мягко уклонился, сказав, что подумает. Он только-только начал привыкать к этой жизни и не хотел снова перебираться на новое место.

Узок-ака выделил ему комнату с отдельным входом, домашние заботились о его нуждах. Посетителей становилось всё больше, и после долгих лет лишений Бозор наконец почувствовал себя человеком. Была и другая причина, по которой он не соглашался уехать: ему нравилась взрослая дочь Узок-ака, а хозяин не возражал против их бесед. Так они довольно близко сошлись. Мулла был застенчив и держал себя в руках, но стоило услышать голос девушки, как сердце начинало колотиться, а колени – дрожать.

Девушку звали Матлуба: высокая, несколько грубоватая, но привлекательная. Кости подбородка заметно выступали, руки были полными и крепкими.

Мулла радовался тому, что обретает своё место в жизни. Всё пережитое – несправедливость, унижения, оскорбления – ещё не забылось, но тягостные воспоминания понемногу тускнели. Разуверившись в людях и в белом свете, он решил заглушить свою горечь учением и отдал ему все силы, всё рвение. Теперь, когда жизнь налаживалась, это стремление угасло.

Если бы шесть-семь лет назад кто-нибудь сказал этому гордому, щепетильному в вопросах чести юноше: «Будешь жить зятем в доме тестя», – он бы сцепился с обидчиком. Но пожил в чужих краях, вкусил горечь и сладость скитаний – и от прежней щепетильности ничего не осталось. Выжить и устроиться в жизни – вот вся его житейская философия. Он понял, что честь на поверку оборачивается бесчестием.

И всё же, несмотря на свою философию бесчестия, вернуться в родную деревню он не мог: здесь старым взглядам не изменил. Воспоминания о деревне оставались и дорогими, и мучительными; отказаться от них он не мог, да и не в его это было власти. В своей поруганной чести, в своём унижении винил всю деревню. Ведь он бежал, испугавшись людских пересудов, – потому и не хотел показываться односельчанам на глаза. Теперь замечал: за что бы ни взялся, всё делал им назло, желая доказать, чего стоит. Это лежало в основе его усердного учения, его стремления к знаниям; теперь то же самое можно было увидеть и в намерении жениться. Словно хотел сказать: «Я и без вас хорошо проживу».

***

Бекмурод всю ночь не спал.

С рассветом посветлело и у него на сердце. Тревожное «что будет завтра?» отступило; он успокаивал себя: «Найдём выход, лето ещё впереди». Узнав о ночном происшествии, двое соседей пришли проведать его. Ночью не вышли: каждому своя жизнь дорога.

Хорошо всё-таки, когда вокруг люди. От тревоги Бекмурода не осталось и следа: один сказал одно, другой – другое, и вместе развеяли его горечь. Чувствовать, что кто-то за тебя переживает, что кому-то ты нужен, – уже утешение.

– Ну, теперь что скажешь? – спросил Назар, когда остальные распрощались и ушли. Потянув Бекмурода за рукав, он отвёл его в сторону, под карагач.

– О чём что скажу? – Бекмурод сначала не понял вопроса.

– О том предложении, дубина, – рассердился Назар. – Уже забыл?

– Да разве у меня голова на месте, друг? – оправдывался Бекмурод. – Тысяча забот в этой голове, не знаю, за какую взяться.

– Всё это заботы от бедности. Понял? Согласись – и всё наладится. Будет и золото, и зерно… – Назар беспокойно огляделся. – Да скажи же «с радостью», дурак! Сама судьба тебе улыбается. Где такую работу найдёшь? Кто ещё предложит? Люди по четыре-пять овец отдают, чтобы их приняли… Работа с постоянным жалованьем тебе и во сне не снилась, верно? Откажешься – так и будешь сидеть дураком, поглядывать на небо, а последние крохи твоего добра, добытого потом, опять разграбят.

Бекмурод не понимал намерений друга. Знал лишь, что его предложение – игра со смертью. Но пришло время, когда без риска не прожить. Сидеть тихо, молиться Богу, во всём положиться на Него и ждать, пока Он укажет дорогу, – путь к гибели.

Впрочем, вся его жизнь была риском. Так он жил с тех пор, как покинул родную деревню. Но теперь, обзаведясь домом и детьми, надеялся наконец обрести покой. В характере уже проступали признаки старости: всё чаще вспоминал о смерти и боялся её, пугался серьёзных перемен. Этой ночью почувствовал это особенно ясно.

Во время разговора с Назаром его не отпускала эта мысль. Сам не понимал, почему так дрожит перед смертью, почему так дорожит жизнью, которая не стоит и медного гроша, не заслуживает того, чтобы её ценили.

«На одну голову – одна смерть. Чего же я боюсь? – думал он, глядя на рот Назара, из которого сыпались какие-то мудрёные слова. – О завтрашнем дне детей думаю? Без меня им будет трудно! Но что я даю им, пока жив? Чем буду кормить зимой? Стану смотреть, как мои дети пухнут и умирают с голоду? Если и вцеплюсь голодным клещом в эту жестокую, подлую жизнь, кто поручится, что уцелею в нынешней сумятице? А если, как ночью, придут двое и убьют прямо в постели, хотя я ничем не рисковал? Разбой, воровство, грабёж, убийство – всё это не для меня. Но как прокормить детей? Как вывести их живыми из этой неразберихи?»

Бекмурод оказался между двух огней. Безупречно честным его не назовёшь, но и подлецом он не был. Нервный, грубый, он, не подумав, обижал людей, однако на чужое добро не посягал. Именно этот нрав и мысли о будущем детей затрудняли выбор.

– Ладно, – прервал он Назара. – Согласен! Какие условия?

– Какие условия? – удивился Назар. – Кроме того, что вчера сказал, никаких условий не знаю. Будем охранять Полвона… Говорили: нужен хороший стрелок и наездник. Тебе, дубине, дают возможность благополучно провести детей через зиму. А ты – условия… Шапку бы от радости в небо бросил, вместо того чтобы условия спрашивать.

– Нет, друг. Я уже не мальчишка, который бежит на всякий зов, ни в чём не разобравшись. Из этого возраста вышел. С криком «ура» на смерть не побегу. Такие, как я, понимают жизнь и зря, по пустякам, ею не рискуют.

– Остального не знаю, – отрезал Назар, поняв, что друг согласен и другого выхода у него нет. – Всё, что знал, сказал. На днях Раззок говорил: «Кот обзавёлся тем самым – и положил это самое на блюдо». Вот и ты не выставляй себя на подносе да на блюде, соглашайся. Я ведь сказал: одному среди чужих скучно. Вместе пойдём – друг друга поддержим.

– Хорошо, – задумчиво сказал Бекмурод. – Сделаем хоть что-нибудь стоящее в этом обманчивом мире, прежде чем умереть… Когда и куда идти?

Назара эти слова испугали:

– Эй, не говори так мрачно. Заладил про смерть… Бог даст, всё хорошо будет… Пусть никто не знает, что мы в это ввязались. Не наживать бы беды. Комил с новой властью близок, пойдёт и донесёт.

– Когда берёшься за дело, надо всё обдумать, всё учесть. Так куда идём?

– Хочешь – прямо сейчас отправимся, – заторопился Назар. – Домашним скажем, что идём басмачей искать, сядем вдвоём на моего коня, мигом съездим и вернёмся. Сегодня-завтра они будут в Бешкапе. Только бороду немного подровняй: сейчас ты на семидесятилетнего старика похож. А то заругаются: «Откуда этого деда привёл?»

Пока собрались и вышли, солнце поднялось и стало жарко. Бекмурод велел детям нарвать в винограднике травы для коз, сел позади Назара на его коня, и они тронулись.

– Здоровенный ты, тяжёлый, – сказал Назар. – Моему коню чуть спину не сломал. Может, попросишь у кого-нибудь осла?

– Езжай, не капризничай, – Бекмурод поддал коню ногами под брюхо. – Нежный стал твой конь, как жена Туйчи.

– Эй, об этой женщине люди всякое говорят. Неужели правда? – Назар забыл даже о коне и сменил тему.

– Не знаю, не спрашивал, – холодно ответил Бекмурод. – Люди что угодно говорят. Помнишь, о невестке Ойсары-хола всякую небылицу несли? Сын её не выдержал позора и сбежал, а невестка до сих пор здесь, за свекровью ухаживает. Те, кто знает, говорят: умная, скромная… Друг, это дело тонкое. Между двумя людьми происходит, судить трудно. Осторожнее: по незнанию опозорить человека легко, оправдать трудно.

До Бешкапы было недалеко. Около полудня, изнемогая от жары, они въехали в деревню. Облизывая пересохшие губы, заглядывали через обветшавшие стены, поросшие высохшей весенней травой, во дворы и на расчищенные крыши, где сушились разложенные абрикосы. Хотели спросить дорогу, но на улице – ни души.

У ворот с резным узором Бекмурод слез с коня и пару раз подпрыгнул на месте, чтобы разогнать кровь в ногах.

– Задница заболела? – засмеялся Назар. – Давно, наверное, верхом не ездил?

– Постучи, спроси, где живёт твой человек. Потом пусть воды вынесут, – сказал Бекмурод и ворчливо добавил: – Что тебе до моей задницы?

– Просто спросил, – Назар натянул поводья, боком подвёл коня к воротам и постучал рукоятью плети. – Эй, есть кто?

– Кто там? – отозвался звонкий женский голос.

Глаза Назара заблестели. Взглядом он указал за ворота, словно говоря: «Вот это да!»

– Не играй глазами, спроси про дом Полвона, – недовольно сказал Бекмурод. – Пропади ты, бабник.

– Ищем дом Полвона. Не подскажете? – Назар заглянул в щель ворот.

– На другом краю деревни, дом с верхней комнатой, – ответила женщина и умолкла.

– Ни про пруд, ни про воду не спросил, – упрекнул Бекмурод, когда Назар повернул коня.

– Нужно – сам спрашивай. Или язык проглотил? Если муж дома, мне умирать не хочется.

Они молча двинулись дальше. Жара разморила их, разговаривать не было сил. По дороге увидели пруд, обсаженный ивами, и напились из пригоршней.

– Черви завелись, – сказал Назар, утолив жажду. Зачерпнул ещё и принялся разглядывать белёсых существ, быстро перебиравших тонкими ножками. – Упитанные черви.

Бекмурод заметил их с первой же пригоршни, но промолчал.

– Будь благодарен за то, что есть, – сказал он. – Только что шёл с высунутым языком, как собака на солнцепёке, а теперь ругаешься.

Они отдохнули в густой тени ивовых ветвей, отросших после прошлогодней обрезки, наслаждаясь порывами свежего ветерка.

– Хороша всё-таки жизнь, – сказал Назар. Прислонившись к толстому стволу ивы, смотрел на воду и длинным рукавом рубахи вытирал пот со лба. – В такие минуты жить так хочется.

– Живи, – Бекмурод не понял его воодушевления. – Кто тебе мешает?

Назар не ответил, встал и, ведя коня в поводу, пошёл по пыльной улице.

– А этого задело, – сказал Бекмурод, тоже поднимаясь и отряхивая зад. Пошёл следом. – Ты хоть правильно идёшь?

Дом Полвона показал мальчишка, игравший на улице, весь в пыли.

Дом оказался совсем не таким роскошным, каким представлялся двум искателям приключений. Когда женщина сказала «с верхней комнатой», оба вообразили большое, богатое здание. «Верхняя комната» была чуть покосившейся деревянной пристройкой над въездом; рядом стоял маленький старый глинобитный дом. Высохшая трава окрасила его крышу в сплошной жёлтый цвет. С задней стороны окон не было. Под верхней комнатой – старые двустворчатые ворота с растрескавшимися досками и безвкусной резьбой.

– Не по имени Полвону такой дом, а? – Бекмурод не скрывал удивления. – Дома мирзо куда лучше. Человек русского борца победил – и здесь живёт?! Слава выше крыши, как говорится…

– Скромный, уверенный в себе человек таким и бывает, – поучительно сказал Назар, хотя тоже удивился. – Он из бедняков, батраком был, у бая служил. Бай его напрасно в воровстве обвинил и плечи горячим маслом облил. После этого он и выбрал такую дорогу. Говорят, прежде, в краях Эшимоксока, среди джигитов Намоз-батыра немало баев заставил повыть.

– О нашем Султане-хромом тоже говорят, что в засуху где-то разбойничал. Тогда его кто-то в ногу подстрелил.

– Полвон не такой подлец, как Султан-хромой. Говорят, ненавидит его, сказал: «Попадётся мне – убью». Твой хромой потому от него и бегает, – Назар покосился на Бекмурода, словно ставя точку в разговоре.

Они окликнули хозяев. Изнутри вышел худощавый юноша, привязал коня к стоявшему здесь колышку и провёл обоих гостей во двор.

На суфе под большим карагачом полулежал на постели крепкий смуглый человек в желтоватой рубахе из грубой ткани, с густой чёрной бородой и выступающим подбородком. Увидев гостей, он приподнялся и сел. Попытался встать, но передумал. Пришедшие раз или два видели Полвона верхом; убедившись, что это он, почтительно приблизились.

– Мы из Гултепы, – сказал Назар. – Ваш джигит, Теша, говорил, что вы людей в отряд набираете, посоветовал встретиться.

– Теша прислал? Хорошо! Садитесь-ка. – Полвон поднялся и поздоровался с обоими. Потом велел юноше, проводившему гостей: – Расстели дастархан.

Они сели на указанные места, скрестив ноги.

– Время непростое, – спокойно сказал Полвон. – К старой русской власти кое-как привыкли, теперь и она сменилась. Новая их власть, видно, совсем ослабла: каждый делает что хочет… Сейчас удобный момент: можно взять власть малыми силами, без больших потерь. Пора и узбекам самим собой управлять, верно?

– Верно… – неопределённо отозвался Назар, не вникнув в смысл сказанного.

Бекмурод же заслушался Полвоном.

– Смотрю, вы вроде мои ровесники, – Полвон понял, что высокие слова мало значат для этих двоих, и переменил тон. – У меня в отряде в основном молодёжь. Иногда по неопытности дров наломают. Горячатся… Одним словом, много ошибок делаем. Побольше бы таких, как вы, кто знает, что к чему. Теша говорил: «Есть в Гултепе хороший наездник, нам подойдёт». Это ты?

Полвон спросил Назара.

– Нет… Наездник – он, – Назар указал подбородком на Бекмурода.

– Хорошо, – сказал Полвон. Бекмурод не понял, что здесь хорошего. – А стрелять умеете?

– У деда старое чёрное ружьё было, – похвастался Назар. – С ним и вырос. С другом часто на охоту ходили. Он тоже хорошо целится.

У Бекмурода был острый глаз, стрелял он метко, опыта хватало. Они охотились на кекликов, лис и зайцев с ружьём, которое дед Назара выменял на пятничном базаре за овцу у таджикского парня, воевавшего с русскими. Трудно припомнить, чтобы Назар сам подстрелил хоть какую-нибудь дичь. Всегда хвастался заслугами Бекмурода, а половину его добычи забирал себе как хозяин ружья. Ради этого и уговаривал друга пойти сюда: сам толком стрелять не умел, но работать, возиться с землёй надоело. Надеясь вступить в отряд и немного разбогатеть, взял Бекмурода в спутники. Хотел держаться в его тени.

– Сейчас такие старые ружья не годятся. Дадим новые, хорошие. Не станем же мы в бою с солдатами порох с дула набивать. На прошлой неделе сам бек меня вызвал. Сказал: «Будем

вместе бороться, собирай надёжных джигитов», – и дал немало оружия. – Полвон взглянул в сторону конюшни. – А как у вас с конями?

– У меня есть, – громко ответил Назар и, словно провинившись, тихо добавил: – У него нет…

– Коня найдём, – сказал Полвон. – Таким джигитам, что грудью готовы за дело встать, не дать коней и оружия – грех на душу взять… Значит, вместе будем бороться?

– Да!

Это было первое слово, произнесённое Бекмуродом с тех пор, как они пришли. Услышав про коня, он почувствовал, как затрепетало сердце. Теперь пошёл бы хоть на край света: наконец сбудется его многолетняя мечта.

– Но предупреждаю: трусам и предателям среди нас места нет! – Лицо Полвона стало суровым. – Неделями, месяцами семьи не видим. Можно и смерть мученика принять… Что делать, борьба без жертв не бывает. Едой, конями, оружием обеспечим, по возможности – жалованьем. На это согласны?

– Согласны, согласны! – поспешил Назар, словно боялся, что иначе Полвон передумает и отправит их обратно.

Полвон говорил о нынешнем положении, о долге каждого человека, каждого мусульманина, объяснял, какие обязанности лягут на джигитов. Хоть слова его и казались этим двоим высокопарными, всё же волновали их.

Под конец разговора им дали немного патронов и по ружью: краска на прикладах стёрлась от долгого употребления, воронение стволов потускнело. Бекмуроду достался ещё и старый тощий конь.

– Не вздумайте это добро на базаре продать. Руки у нас длинные, и из-под земли достанем, – пригрозил Полвон.

Теша записал на какой-то бумаге их имена, имена отцов и адреса, взял отпечатки пальцев и, велев прийти через три дня, распрощался.

Оба возвращались с тревогой в душе, но довольные. Особенно радовался Бекмурод.

– Только что были никем, – сказал он, когда, выйдя из деревни, они ехали по голому полю, где уже сжали хлеб и собрали солому. – А теперь мы люди государства.

– Насчёт государства не знаю, но плохо, что нас записали, – тревожился Назар. Утренний пыл угас. – От них, похоже, только смертью и избавишься.

– Сам же меня сюда повёл.

– Не нравится мне… Зачем они нас записали? А пальцы зачем прикладывать заставили? Попал в запись – попал в огонь.

– Всё, со стороны смотреть больше не выйдет. Понял? Поэтому я вчера и раздумывал…

Бекмурод умолк.

До самой деревни они ехали молча.

***

До полудня Раззок от страха и стыда прятался дома. Наконец терпение кончилось, сердце готово было разорваться, и он пошёл к Комилу. О ночном происшествии вспоминать не хотелось, но душа горела. От материнского поручения разрыхлить виноградную гряду он отделался обещанием: «Вечером, по прохладе, перекопаю».

По деревне пошёл слух, что ночью приходили басмачи и забрали у Бекмурода зерно. На фоне этой тревоги второе происшествие затерялось. Говорили, что перед уходом басмачи заходили и во двор Туйчи, но особого интереса это не вызвало. Многие решили: легкомысленная женщина сама выдумала историю, чтобы поднять себе цену.

Раззок радовался: никто не узнал, что он натворил… Неужели Жамил и вправду не догадалась? Кажется, она не из тех женщин, которые промолчат и всё утаят. Тогда почему до полу-

дня не пошли слухи об этих двух бабниках? Или у неё другие намерения? Может, слухи уже ходят, только до него не дошли…

Вот что занимало Раззока.

Комил молотил хлеб, гоняя осла по току.

– Нет в тебе ничего человеческого, – сказал он, увидев приятеля.

Сердце Раззока затрепетало: что-то случилось…

– Всё в порядке?! – голос дрогнул.

– Какой там порядок! С утра один, весь в пыли, молочу. Хоть бы вышел, доброго труда пожелал.

Раззок немного успокоился, но сердце продолжало колотиться.

– Нога как? Не болит? – Он сел на нагретый солнцем камень.

– Со мной-то ничего не случилось. А ты чего притих, будто в воду канул? – Комил слез с седла, привязал осла к персиковому дереву у края тока и вернулся. – Насиделся на осле, задница болит… Друг, не обижайся, но в тебе и вправду человечности нет. Вчера чуть не убили, а ты даже голоса не подал.

– Каждому своя жизнь дорога… – Раззок стыдился вчерашнего. – Что бы я сделал, если бы за тебя вступился? Тогда оба погибли бы.

Комил поднял жестяной чайник с межи и напился из носика:

– На, пей! Немного тёплая, но всё равно вкусная. Родниковая вода, вчера принесли.

Раззок отказался. Они встретились взглядами – и разразились хохотом.

– «Молодцу смерть не грозит – сам на нож лезет», как говорится. Какая нам нужда была? Чуть не погибли. Хорошо ещё, отпустили. А если бы застрелили, что бы ты делал? – Раззок перестал смеяться и посерьёзнел.

– Зато интересно… До исполнения желания совсем немного оставалось. Если бы те негодяи не пришли, сидели бы сейчас оба, пьяные от удовольствия, и друг перед другом хвастались, – Комил зачем-то сглотнул.

– Слышал? Они от Бекмурода-ака шли, ограбив его. Кто-то донёс. А то откуда бы узнали – во сне увидели? – После паузы Раззок добавил: – Ты тоже молотишь. Хоть бы всё добром кончилось.

– Я не простак, – похвастался Комил. – Пока провеивать не буду. Есть знакомые в новой власти, сказали: «Приходи, поможем». Съезжу в Ургут, посоветуюсь. Хоть ружьё дадут. Кто ночью ко мне придёт – в лоб выстрелю… Хочешь, вместе поедем, познакомлю. Они не звери, как люди говорят, за бедняков стоят.

– Брось, – предложение Раззоку не понравилось. – Говорят, ишаны против них. Кто за ними идёт – неверный, так сказали.

– Как знаешь, – ответил Комил. – Я предложил, остальное тебе решать. Завтра только не обижайся.

Наутро, прежде чем отправиться в Ургут на старом осле, Комил, как обещал, зашёл к Раззоку. Тот отказался. Осторожный, он не хотел примыкать ни к одной стороне. Желал лишь жить тихо, ни во что не вмешиваясь, сохраняя нейтралитет…

Из Ургута Комил вернулся довольный и по дороге заглянул к своему поверенному Раззоку. Не в силах сдержать улыбку, рассказал, что старые знакомые заняли большие должности и теперь решают судьбы многих людей. Потом бережно достал из кармана шаровар желтоватую бумагу. На ней чернилами было написано, что все должны всемерно помогать предъявителю, Комилу, сыну Санокула, и подчиняться его приказам.

– Видишь, я государственный человек… Косим-ака так и сказал… Когда я в Самарканде жил, мы вместе много дел делали. Только пока у государства денег мало, жалованья не дают. Сказали: потом назначим, – хвастался Комил.

– Когда в деревне людей не остаётся, и козла муллой Норкузи зовут, как говорится. Так ты теперь государство? Ни чалмы у тебя, как у Шайман-кази, ни грозного вида, как у Ходжа-бобо, ни брюха, как у Мавлон-поччо. Кто тебя слушать станет? – засмеялся Раззок. – Какую должность дали? Элликбаши, старосты?

– Ну и деревенщина ты! Время пузатых ходжей прошло, – рассердился Комил. Обидно было, что даже ближайшему другу не может ничего втолковать. – Другое время началось, совсем другое! Теперь государством будут управлять бедняки, такие, как мы с тобой… Мне так сказали. Понял? «Будешь нашим представителем в Гултепе, сообщай, что там хорошего и плохого происходит, потом жалованье назначим», – сказали.

Раззоку это не понравилось:

– А твоё дело, часом, не предательство, не шпионство? По твоим словам, чем-то таким попахивает.

– Ты в своём уме? Какое предательство? Представитель власти… И тебе то же советую. У этого государства есть будущее: кругом одни бедняки. Они будут жить, и государство вместе с ними. Четыре-пять баев ничего не сделают, вот увидишь.

– А войско?

– Да они игрушки в руках баев. Думаешь, что-нибудь сделают? Дальше грабежа бедняцких заморышей – телят да коз – не идут. Почему мирзо не трогают, а у Бекмурода последнее зерно забирают? Жизнь не так проста, как ты думаешь.

Раззок не поверил другу, точнее, не поддался на его уговоры и со свойственной ему мягкостью тихонько сказал: «Может, и так».

Подумал: какое богатство я наживу этим спором?

***

Назар и Бекмурод ещё не привыкли к своему новому положению. Чувствуя себя неловко, смущаясь обращённых на них взглядов, тревожно проезжая деревни верхом, с ружьями за плечами – вдруг наткнутся на солдат, – они в назначенное время прибыли к дому Полвона.

На поле за его двором, где уже сжали хлеб, собралось около двадцати джигитов. Большинство – молодые. Бекмурод решил: немногие, подобно ему и Назару, пришли сюда из заботы о семье; этих привёл юношеский пыл.

Они были ровесниками Комила, только выбрали другую дорогу.

Во что превращает жизнь молодых людей, выгоняя их из дома? Неясное будущее, безнадёжный завтрашний день заставляют молодёжь этого времени играть со смертью. В этом они и находят смысл жизни.

Среди собравшихся внимание обоих привлекли Остон, Сафар, Рахмон и Окбута. В отличие от остальных, они уже знали, что к чему, повидали и хорошее, и плохое. Не съёживались, как цыплята перед ястребом, не поглядывали исподлобья на других с тревогой. Видно было: с Полвоном они сотрудничали и прежде.

Остон из Кайрокли был щёголем: чистая рубаха из грубой ткани, смазанные жиром сапоги блестят. Короткая борода аккуратно подстрижена, на гладко выбритой голове – тюбетейка. И за оружием он ухаживал: оно сияло. На коня даже набросил ярко-алую попону. Обтянутое кожей седло украшали блестящие гвозди, седельную луку обвивала какая-то жёлтая жесть. К узде и недоуздку прикрепил кожаные амулеты и бусины; перемётная сума с кистями переливалась всеми цветами радуги.

«Столько бусин и оберегов даже на колыбели долгожданного внука Ходжа-бобо нет», – подумал Бекмурод, залюбовавшись разукрашенным конём.

Сафар – маленький, худой, говорливый: челюсть не отдыхает. Слова сыплет быстро, а под конец всякий раз смеётся: «Хи-хи». Смуглый, с тусклым лицом и тёмными пятнами под глазами – видно, какая-то болезнь в нём сидит.

Рахмон – неповоротливый, спокойный, своего мнения нет: разинув рот, смотрит на того, кто говорит. Обжора. Любой разговор сводит к еде. Послушаешь его – решишь, что ни о чём, кроме куска, не заботится. Так и было: этот отец четверых детей никогда ни о чём, кроме собственного аппетита, не думал; о том говорила и его рыхлая полнота. По разговорам стало ясно: в отряд Полвона он пришёл ради того же. Всё благодарно вспоминал: прежде ел мучную похлёбку да кашу, а теперь, слава Богу, довелось попробовать жирного плова и жаркого.

Окбута – борец и наездник, невысокий, но крепкий: плечи готовы рубаху разорвать. Горд собой и, кажется, без всякой нужды то и дело прохаживается перед людьми, выставляя напоказ свою стать.

«Этим умереть будет легко, – решил Бекмурод, глядя на молодых. – Не знают ещё, в чём прелесть жизни; ниточки, удерживающие их на этом свете, тонки. Не останется за ними, как за мной, целый выводок голодных, плачущих детей. Если уж смерть прижмёт, смогут умереть счастливыми и радостными».

Вид такой вооружённой толпы встревожил его. Прежде он понимал, в какую игру ввязался, но сердцем ещё не прочувствовал её сути. Эти джигиты с огнём в глазах кого угодно заставят содрогнуться; спутанные кони на поле бьют копытами, ржут, ещё сильнее тревожа сердце. В такой обстановке человек забывает о себе и понимает: он лишь малая частица чего-то большого.

Полвон вышел из дома в военной форме зеленоватого, фисташкового оттенка. Новый ремень, кобура маузера и прочее снаряжение на поясе придавали ему вид настоящего командира.

– Вы знаете, – начал он, обращаясь к джигитам, отдыхавшим в тени старой ивы, разморённым жарой. Назар и Бекмурод были среди них. – Я много лет борюсь с властью. Хочу, чтобы мы сами стали хозяевами нашей страны, очистили землю, занятую неверными… Теперь пора бороться вместе! Когда же мы вздохнём свободно, создадим своё государство? Хоть один из вас задавал себе такой вопрос? Нет, нельзя больше лежать, живя по правилу: «Дашь – поем, ударишь – умру». Нельзя жизнь, данную нам на время, провести за скотиной и кетменём, ожидая чужой милости. Хватит жить одним сегодняшним днём… Будем горды, станем хозяевами себе и своей жизни. Наши предки были настоящими воинами. Не вяли, как мы, не служили кучке отступников – считали это позором… Джигиты, братья, младшие мои, пришло время воевать! Будем и дальше молчать – безбожники совсем растопчут нас… Станем сражаться, потому что в любом случае выиграем. Победим – народ обретёт свободу. Даже потерпев поражение, останемся в выигрыше: враг начнёт считаться с этим народом, поймёт, что нельзя играть с нашей верой и нашим народом, вынужден будет уступить. Значит, при любом исходе победа за нами! Наше дело не исчезнет бесследно. Если не нам, то детям непременно принесёт пользу. На днях я получил благословение нашего духовного наставника. Ишаны на нашей стороне. Сам бек присвоил мне звание юзбаши, прислал оружие. Мы на верном пути, и сторонников в стране у нас много. Боремся за то, чтобы восстановить веру, вернуть её народу… Ещё скажу: нет у нас крепости, которой мы правим. Мы живём среди этого народа, на этой земле. Не обижайте людей по пустякам. Без моего разрешения ни чужой щепки не трогайте. Узнаю, что кто-то без причины человеку душу ранил, – не прощу… – После торжественной речи Полвон помолчал и продолжил тише: – А сейчас отправляемся. Пройдём через Дайрабад, пойдём к горам. Там бек собирает всё войско.

Джигиты принялись укладывать перемётные сумы. Во время сборов Назар и Бекмурод познакомились с остальными. Несмотря на жару, все взяли чапаны, некоторые – даже тёплые чакманы. Сумы наполнили едой и ячменём, которые раздавали люди Полвона.

Конь был мечтой всей жизни Бекмурода, и он ухаживал за ним с такой любовью, что за два дня животное заметно ожило, стало бодрее, шерсть заблестела. «И животному, и растению, и человеку нужна любовь», – говорил его покойный отец.

Под вечер Полвон повёл своих два десятка джигитов в путь, спрятав оружие в чапанах. Опасался встречи с солдатами, поэтому ехал ночью. В родных местах никого не боялся, а особенно осмелел после того, как бек сделал его юзбаши и поручил присматривать за краями Мингии. Стал собирать налоги с деревень, старался не пускать на вверенную ему землю солдат новой власти, грабивших население, и людей Додхобека и Даминбека, собравших собственные отряды и действовавших как вздумается. Но сейчас ехал в незнакомые места, и неизвестно, кого встретит по дороге. Джигитов надо беречь!

Назавтра, ближе к полудню, они добрались до назначенного места – деревни Чупонавул среди гор. Здесь стояли люди, встречавшие прибывающих. Полвона и его джигитов провели дальше, к холмам, где были поставлены юрты и сновало бесчисленное множество вооружённых людей. Вокруг – голая земля, ни дома, ни дерева.

Полвон взял небольшой мешок с подарками и отправился к беку.

Джигиты не знали, зачем на самом деле прибыли сюда. Разобрались позже, после полудня: всё войско бека собралось на учения, осваивать военное дело, искусство войны. По отрядам ходили разговоры, что вскоре готовится нападение на Самарканд. Поэтому бек решил собрать войско, научить отряды согласовывать действия, вместе вступать в бой, хоть немного подготовить к войне юнцов, недавно пополнивших ряды.

Говорили, что обсуждается и объединение с отрядами, ведущими джихад в Фергане, что между сторонами ходят посланцы. Как ни хотелось Полвону успеха, он в него не верил: единство было подорвано ещё во времена ханств. У сторон разные настроения, намерения, цели. Неизбежны и споры об общем руководстве; нет человека, способного взять его на себя и удовлетворить требования всех сторон.

Среди наставников были турки, прибывшие из Рума, и русские военные, прежде воевавшие против народа, а теперь давно жившие в этих краях. Их светлые лица покраснели на солнце. Турок ещё можно было кое-как понять, но русские знали лишь четыре-пять местных слов: с ними общались через переводчика или знаками.

На занятиях по стрельбе один из них, высокий русский военный в выцветшем, грязном мундире, пропахшем потом, стал смотреть на Бекмурода с уважением. На первом же занятии тот сбил цель – небольшой камень, поставленный на большой валун. С тех пор офицер уделял ему особое внимание. Даже на занятиях с саблей, хотя Бекмурод к этому делу не был способен, настойчиво пытался чему-то его научить, что-то втолковать.

Однажды бек обходил лагерь, наблюдая за занятиями. Русский военный как раз учил джигитов Полвона стрелять. Когда высокий, крепкий бек в военной форме, с маузером на поясе, в хромовых сапогах подошёл в сопровождении Полвона и четырёх-пяти помощников, офицер стал что-то объяснять ему по-русски, вставляя узбекские слова. Бек протянул Бекмуроду руку и крепко пожал её:

– Молодец! Нам нужны такие джигиты, как ты! – Велел стоявшему рядом: – Выдайте этому джигиту пистолет от моего имени… Полвон, замечательных людей ты собрал, спасибо. Береги их.

Сердце Бекмурода взволновалось. Бек прошёл дальше и тронул Окбуту за плечо:

– Борешься?

Тот смущённо опустил глаза, и Сафар, воспользовавшись этим, по своему обыкновению вмешался:

– Борется… Мы все не промах. Лучшие джигиты Мингии. Хи-хи…

Полвон хотел одёрнуть его – за смешок, а не за слова, – но бек заметил это и опередил:

– Ничего, гордость тоже не вредна. Кто в себе уверен, гору в порошок сотрёт.

Джигиты участвовали в совместных военных упражнениях. Сначала юнцам, не бывавшим дальше родной деревни, всё казалось игрой: посмеивались друг над другом. Потом, когда

из ружей прозвучало несколько выстрелов, испугались и стали вести себя так, будто вступили в настоящий бой.

Двадцать дней учений среди гор открыли глаза ребятам, ещё не понимавшим, что такое война, стрельба и сабельная рубка.

Рахмону пришлось тяжело. Продовольствия становилось всё меньше; окрестные деревни тоже перестали давать продукты, овец и ягнят. Денег на покупку не осталось. Привыкший к сытой жизни, Рахмон тосковал по жаркому на курдючном жире, по жирному плову и всё хуже владел собой. Стал раздражительным, вместо занятий ложился в сторонке. Многим это не нравилось, но никто ничего не говорил. Опытные знали: с таким нравом уже в первом бою попадёт под пулю и погибнет.

Когда учения закончились, бек собрал всё войско – больше тысячи джигитов – и, взойдя на большой валун, произнёс речь:

– Джигиты! Соратники! Братья! Ради нашего народа мы взялись за правое дело: боремся за восстановление мусульманского порядка в стране и за свободу народа. Больше сорока лет мы под гнётом неверных. Довольно! Пора взять оружие и изгнать безбожников с этой священной земли… Вы знаете: старая власть нашей вере не противилась. Но новые большевики хотят отвратить народ от религии, натравить отцов на детей, детей – на отцов. Их солдаты грабят народ. Они хотят истребить лучших джигитов, людей верующих, а остальных превратить в рабов… Не забудем, чьи мы потомки… С сегодняшнего дня забудьте, что такое страх! Мы одержим великие победы, и каждый из вас займёт самые почётные должности в государстве, которое мы создадим. Многие правители мира на нашей стороне. Построим свою державу, где расцветут вера и нравственность… И ещё: пусть никто никогда не действует самовольно, не грабит народ. Каждый, кто причинит людям зло, будет наказан. Таким не будет прощения. Ведь мы взялись за это дело, чтобы принести народу свободу, а не грабить его. Мы не шайка разбойников, как солдаты, и не станем, подобно им, унижать людей. Освободим народ от их гнёта, вернём ему веру… Через вас я хочу сказать народу: подними голову, людская масса! Ты родился не для того, чтобы жить с поникшей головой, служить чужим рабом! Ты тоже человек. Имеешь право на своей земле иметь государя своей веры, в своём государстве служить своему беку!

Бек говорил громко, грубым голосом, с остановками, но в нём слышалась искренность. Речь многих взволновала, а кое-кто язвил:

– Нашёлся защитник, – шепнул стоявший рядом с Бекмуродом Рахмон. – Говорит, будто отец оставил ему казну, чтобы столько людей кормить. Если народ не грабить, где он возьмёт оружие, патроны и еду на всех?

Бекмурод собрался возразить, но прикусил язык.

***

Мулла готовился к свадьбе.

Чтобы будущий тесть когда-нибудь не попрекнул его и чтобы сохранить перед ним достоинство, он пустил в ход все возможности. Собирал деньги и вещи на свадебные расходы.

Но с наступлением лета спрос на ишанов и мулл падал. Все с головой уходили в работу, забывали о болезнях и душевных муках. Теперь его главным занятием были не молитвы, а мирские дела: написать кому-нибудь письмо, прочесть что-нибудь, разрешить по шариату неулаженный спор.

Здесь он был не один: и прежние кази, и новые суды – они мало вмешивались в дела мусульман, споры населения, исповедовавшего ислам, разбирали кази по шариату, – и всякий, у кого были сила и оружие, брался разрешать ссоры и разногласия.

Близких, которых можно было позвать на свадьбу, у муллы не было.

Он жил в поперечной комнате дома Узок-ака, служившей гостевой; дверь выходила к воротам. Отсюда внутреннего двора не было видно. Общаться с домашними можно было

только через маленькое окно, выходившее в айван, через которое гостям подавали еду и прочее. Когда отца не было дома, Матлуба три-четыре раза в день стучала в это окошко и приносила хлеб и чай. Застенчивая, она всё же стала приходить без паранджи, с открытым лицом. Сначала это удивило муллу, потом пришлось по душе.

Многие уже знали о предстоящей свадьбе, но положенные обряды ещё не были соблюдены: мулла не посылал сватов, отец девушки не давал согласия. Кого ему послать сватом, если самый близкий человек здесь – сам Узок-ака? Кому ещё открыть сердце?

И этот вопрос решил Узок-ака. Позвал одного из деревенских аксакалов, своего ближайшего единомышленника, старика Сотима, открыл ему душу и попросил как-нибудь объяснить всё мулле.

Старик многое повидал. В молодости служил в войске эмира, участвовал в Самаркандском восстании против русских, потом едва спасся бегством. Теперь сгорбился, без палки не мог разогнуться, но говорил всё так же смело. Хоть и был намного старше Узок-ака, беседы у них ладились, друг к другу ходили. Жили по соседству. Далеко старик ходить не мог: выйдет за калитку, сядет на пень под обрезанной ивой, позовёт соседа – и болтают весь день. Иногда выйдет к нему, мешает работать, часами ведёт разговоры. Зимой занимают уголки у сандала; все уже уснут, а они ещё беседуют.

Мулла косил во дворе первый урожай люцерны. Сотим подошёл к нему, переваливаясь на старых ногах. Поздоровались, пожелали друг другу доброго труда и благополучия. Старик взял охапку свежескошенной люцерны, бросил на межу и осторожно уселся сверху.

– Бережёте себя, дедушка? – пошутил мулла.

– Старому жизнь дорога, – засмеялся старик, показав беззубые дёсны. – Эх, чего только эта голова не пережила! Потому и дожил до таких лет, братец, что себя берёг. А иначе кто бы дал мне столько прожить? Какие джигиты на войне погибли! А сколько потом в смутах сгинуло. Считать – не пересчитать…

Мулла поморщился: подумал, что старик, как обычно, до заката будет рассказывать о прошлом, расписывая его всеми красками. В самом деле, как многие пожилые люди, он теперь жил одной болтовнёй: хвастался тем, что видел и не видел, делал и не делал, знал и не знал. Его рассказы вся деревня, от мала до велика, выучила наизусть. И всё-таки слушали молча. Что ещё делать?

– А человек, оказывается, живучий. Умереть ему трудно, – предался воспоминаниям старик. – Когда мы в Самарканде в бой пошли, снаряд русской пушки распорол живот джигиту, бежавшему рядом со мной, выворотил все внутренности. Эй, поверишь ли: он так и бежал с криком, даже не понял, что живот разорвало. Шагов десять-пятнадцать пробежал, волоча кишки по земле, потом упал… Страшная была война…

Мулла представил человека, бегущего и волочащего кишки, – по телу пробежала дрожь, к горлу подступила дурнота. Старик понял его настроение по лицу и сменил тему:

– Ты ведь тоже, кажется, мир повидал, а ничего не рассказываешь?

Так он приблизился к цели, но мулла ещё не понял его намерения.

– Таких великих дел, как вы, не совершал. В Бухару поехал, людям служил, потом учился. Вот, судьба привела сюда. Слава Богу! На войне не был, с саблей не скакал, из ружья не стрелял. Что рассказывать? – Мулла сел рядом со стариком, чтобы наточить серп.

– А жениться, говорю, тоже забыл? – поинтересовался старик.

– Не время, – ничего другого мулла не нашёл.

– Будешь время выбирать – оно никогда не придёт. Так холостым и останешься, – перешёл к наставлениям старик. – Я вот много прожил, всякое видел, понял жизнь. Суетная она, братец. Какие джигиты умерли, не оставив после себя ни следа! Смысл жизни – в детях. Повезёт, до старости доживёшь – прокормят. Не доживёшь – после тебя огонь в доме поддержат. Выходит, это и есть главное, если подумать. – Старик вздохнул и добавил: – Грубо скажу:

откармливаешь овцу или корову, потом режешь, ешь. Что от неё остаётся? Ничего! Холостой человек тоже так. Впрочем, не знаю, ты больше моего читал, в медресе учился, лучше понимаешь. А у нас – из жизни.

Старик всё ходил вокруг да около, не мог перейти к делу. Заговорил о книгах и, поняв, что здесь стоит ступенькой ниже, прикусил язык.

– Так жениться-то собираешься? – наконец спросил прямо.

Мулла продолжал точить серп: точильный камень скрипел по лезвию.

– Не знаю… – пробормотал он.

«Сказать, что уже женат, или не сказать?» – эта мысль не давала покоя. С самого приезда сюда он об этом думал.

– Всё равно жениться надо, – решительно сказал старик. – Что останется на этом свете, кроме детей? Если детей нет, напрасно жил, напрасно приходил и уходил. Хочешь – найдём тебе девушку в нашей деревне. Сам сватом пойду. На свадьбу оденешь меня с головы до ног – и хватит. Нам, беднякам, и этого довольно!

Мулла понял, к чему клонит старик и кого имеет в виду. Старик тоже понимал, что тот догадался. Но что поделать – таков обычай: знать одно, а сказать вслух – другое.

– Ну, согласен? – старик уже измаялся.

– С нарядом как-нибудь справимся, – сказал мулла.

– Молодец! – воскликнул старик. – Значит, согласен! Теперь надо с невестой определиться. Есть кто на примете?

– Где уж, – ответил мулла, поднялся, взял серп и неохотно принялся косить люцерну. Отошёл недалеко. Старик остался сидеть.

– Может, я найду? Ты здесь недавно, не знаешь, в каком доме девушка есть, кто каков… По мусульманскому обычаю так холостым ходить не годится… – Старик снова прикусил язык: поздно вспомнил, что перед ним не один из тех юнцов, которых он привык наставлять, а человек, окончивший медресе в самой благородной Бухаре. – Впрочем, не знаю, наш наставник так говорил. Ты в этих делах больше и лучше моего знаешь, сам понимаешь?

Матлуба принесла две лепёшки, завёрнутые в лоскутный дастархан, и чай в глиняном чайнике. На голову набросила платок, лицо было открыто.

– Молодец, дочка, – старик принял чайник и кое-как пристроил его среди свежескошенной люцерны. – Дай Бог тебе долгой, благословенной жизни… Мулла, иди сюда, попьём чаю. Жара разошлась, чай сейчас в самый раз… Знаешь, прежде такого питья не было…

– И сейчас многие о нём не знают, – мулла прервал работу.

Он только этого и ждал. Когда-то, когда мать заводила разговор о женитьбе, его охватывало сладкое волнение. Нынешняя беседа пробудила в душе то же приятное чувство. Он подошёл и сел на межу рядом со стариком.

– После косьбы завтрак особенно хорош, а? – Старик несколько раз перелил чай из чайника в пиалу и обратно. – Ещё бы по чашке холодной простокваши – какое блаженство! – Посмотрел вслед молча уходившей девушке. – Ладно, пусть и то, что есть, во благо будет… А дочь Узока, гляжу, совсем взрослая стала. Время идёт. Кажется, вчера ещё малышами были, весь день ревели. А теперь найдётся подходящий человек – можно замуж отдавать… Кстати, сидим, голову ломаем, к чьей дочери свататься. Вот же невеста! Под рукой! Годится?

Мулла покраснел. Неловко было услышать вслух то, что всем известно, и принять это как нечто неожиданное, прежде не приходившее в голову.

– Да нет… – замялся он. – Неудобно, думаю. Всё-таки человек приютил меня, а я с ним вот так…

– Как – так? – старик не скрывал удивления. – Кто-нибудь предлагает тебе в его дом воровать залезть? Ты сватов посылаешь, чтобы законным браком взять его дочь.

– А если не согласится? – мулла покраснел.

– Об этом не беспокойся. Уговорю. Узок без моего совета дела не делает.

Разговор разгорелся, и косьба была забыта. До позднего утра они беседовали, обливаясь потом на жаре. Кроме свадьбы, обсудили немало полезного. Старик обещал поговорить с Узоком, чтобы тот выделил ещё комнату в доме: мулла соберёт пяток-другой способных деревенских детей, откроет школу и будет учить их грамоте. Детям знания, ему – заработок. Предложение воодушевило муллу, и впервые за много лет в нём проснулась уверенность в будущем.

Под вечер Сотим-бобо заглянул в дверь к мулле, читавшему в своей комнате, сказал: «Попробуем что-нибудь сделать», – и прошёл во внутренний двор.

Мулла долго ждал, потом погасил масляную лампу и лёг. Уже глубокой ночью в открытой двери, среди тьмы, будто готовой проглотить всё, показалась голова старика:

– Мулла, спишь? – в голосе слышалась радость.

Хотя он устал, целый день работая серпом, уснуть не мог: духота, блохи и комары мучили его. Хотел вынести постель наружу, но стеснялся.

– Нет, заходите, – он поднялся.

– Готовься к свадьбе! – шепнул старик с порога.

– Неужели?! – мулла едва сдержал волнение.

– Видно, что согласится. Ещё раз-другой схожу – уговорю, – прошептал старик.

Наутро Узок-ака как ни в чём не бывало подошёл к мулле, который с самого рассвета косил люцерну, перекинулся с ним парой слов и, выведя коня, уехал по своим делам. У него была небольшая лавка на пятничном базаре, торговал.

***

Жара стала нестерпимой.

В глубине двора Раззока пять-шесть вишнёвых деревьев обильно плодоносили; спелые красные ягоды радовали глаз. Каждый день ближе к полудню Раззок и Комил приходили сюда, набирали миску вишни, мыли, солили её и, развалившись в тени, ели. Потом заводили разговор о девушках, а когда и он иссякал, немного дремали в прохладе под деревьями. Когда жара спадала, каждый уходил по своим делам.

Неудача той ночи разожгла в обоих огонь: они поняли, что так поступать можно и, если повезёт, своего добьются. Теперь строили новый план.

– Нищему трудно только в первую дверь войти, говорят, – сказал Раззок, лёжа на спине и разглядывая алые ягоды. – Дальше легче будет. Ещё раз попробуем – получится. Время тяжёлое, жизнь проходит. Если завтра, не дай Бог, не повезёт, как бы не уйти с этого света такими же девственными.

– Я давно думаю… – загадочно сказал Комил. – Есть одна женщина… Может, рискнём?

– Жамил? – спросил Раззок, прощупывая почву, хотя знал, что речь о другой.

– С ней, видно, не выйдет. Ухажёров много: станем тягаться – спину нам переломают. Да ещё муж имеется. Теперь понимаю: надо такую выбрать, чтобы сама обрадовалась, с распростёртыми объятиями встретила, – мудрствовал Комил.

– И кто же нас с распростёртыми объятиями ждёт? Есть такие?!

– Думаю, есть… – замялся Комил. Не знал, как Раззок примет предложение: может рассердиться, обвинить в подлости. Всё-таки ни с деревенским обычаем, ни с мусульманской верой это не вязалось. – Есть ведь та…

Комил умолк.

– Кто?! – Раззок сгорал от нетерпения. – Не мямли, говори.

– Ойсара-хола…

– Что?!! Ты в своём уме?!

– Эй, не убивай, пока не досказал! Её невестка, Нисо, помнишь? О ней с соседом слухи пошли, муж ушёл… Может…

Раззок возмутился: такое ни в миске, ни на ложке не удержишь – настоящая подлость! Но не решился высказать это прямо. Всё-таки закадычный друг; к тому же говорить людям резко, обижать их было не в его характере.

– Они ведь порядочные, скромные… О Нисо я плохого не слышал, – наконец сказал он нерешительно, стараясь не занимать ничью сторону.

– Думаешь, слухи ложные? – Комил пошёл в наступление. – Если ничего не случилось, откуда хвост на пашне, дружок?! Чем она перед Богом провинилась, чтобы без мужа жить? Наверное, и сама изнывает… Мавлон-поччо говорил: «Утешить вдову – богоугодное дело». Вот и сделаем добро… А если нас там не ждут, легко сбежим. Опасности мало, риска почти нет. Как раз по твоему нраву.

– Разве женщины тоже этого хотят? – удивился Раззок.

– Пропади ты, дурак! Опять твоя деревенщина наружу лезет… – огрызнулся Комил. – Если бы не я, умер бы, считая эту деревню всем миром. На свете есть и другие вещи, кроме твоего серпа, кетменя, горстки зерна, которое сеешь, и миски вишни, которую ешь… Про любовь-то хоть слышал? Она всем одинаково приятна.

Они стали планировать, как проникнуть в дом Ойсары-хола. Раззок старался оттянуть дело: ему хватало самого намерения. Комил же этим не довольствовался – нужен результат; требовал действовать в ту же ночь. Раззок немного поколебался, но странное чувство и любопытство, проснувшиеся в душе, взяли верх, и он согласился. Думал: кто придумал, тому и отвечать за грех.

Согласиться согласился, но до вечера не находил себе места. Недавнее происшествие не выходило из памяти. Попадётся – шкуру сдерут. Удача не любит, когда с ней играют.

Комил занимался зелёной обрезкой винограда. Дело было не срочное, поэтому до спада жары он мешал Раззоку работать, развалившись под вишней. По дороге домой не смог равнодушно пройти мимо двора Туйчи. Сердце потянуло туда. «Будь что будет, зайду-ка», – не давала покоя мысль. После той ночи интерес к этому дому только усилился. Придумав замечательную ложь, он толкнул калитку – открылась. Вошёл, прикрыл её и, тихонько кашлянув, направился к айвану.

– Туйчи-ака! – негромко позвал он.

– Что вам нужно?

Комил вздрогнул от голоса, прозвучавшего у самого уха.

– Ой, чего вы так пугаетесь? – Жамил шла позади. От её весёлого голоса Комил растерялся, совсем потерялся.

– Я… По поводу мельницы пришёл. Если Туйчи-ака дома… У нас немного зерна, хотел смолоть.

Он выговорил заготовленные слова и почувствовал облегчение. Жамил не поверила. Почувствовав, что на уме у него другое, взглянула вопросительно; её лукавый, горящий взгляд пронзил Комила насквозь. Правду люди говорили: необыкновенно хороша. Белое округлое лицо, нежная кожа, ни пятнышка. Тёмно-каштановые завитки, как у молодой невесты, скрывают виски; на правой щеке сразу бросается в глаза чёрная родинка. Ресницы длинные, загнутые, ростом чуть ниже Комила, руки полные. Блестят газельи глаза; взгляд словно обещает что-то таинственное.

Какую тайну таили эти глаза, Комил не понял. Понял лишь: перед такой женщиной мужчине не устоять. Было в ней очарование, способное околдовать человека. Лицо открыто; коричневатый платок, наполовину скрывавший длинные тонкие косички, повязан поверх ташкентской тюбетейки с разноцветными цветами на белом фоне. На ней – старое атласное платье с длинными рукавами.

– Он ведь на мельнице, – обворожительно улыбнулась Жамил. – Кому мельница нужна, туда идёт, а сюда не врывается.

Сердце Комила запрыгало.

– Ладно, – сказал он, не зная, что делать. Сколько ни красноречив был перед Раззоком, при виде женщины язык отказывал. – Тогда на мельницу пойду. Если воды мало… Подумал, может, отдохнуть пришёл.

Он поплёлся обратно. Хотел что-то сказать, но язык не поворачивался. От красоты Жамил, от её звонкого голоса потерял голову.

– Эй, парень, погодите, – громче сказала Жамил. – Что вы той ночью в нашем дворе делали?

Комил этого не ждал!

– Какой ночью?.. Это не я был…

– Да бросьте. Сама слышала, вы были. Если бы басмачи не пришли, не знаю, что бы вы сделали, – хихикнула Жамил.

В её смехе было немного бесстыдства и немного дерзости.

Парень понял: за тот поступок она ругать его не собирается! И тут же усомнился: может, у неё такой нрав – смеётся, когда кого-нибудь отчитывает? Но глаза-то играют. Этот взгляд выдержать трудно!

Вдруг дрожь прошла, и Комил почувствовал неожиданную смелость. Резко обернулся и посмотрел Жамил прямо в глаза:

– Я был. Хотел поговорить… Но ты дверь не открыла, не получилось!

– О чём же? – Его смелость Жамил понравилась.

– Не для дневного разговора. Кто-нибудь увидит – плохо будет.

Жамил поняла намёк, но притворилась простушкой:

– Разве разговор можно увидеть? Странный вы! Услышать – можно.

– Наш можно и увидеть, – Комил решил ковать железо, пока горячо. – Согласишься – приду сегодня ночью, поговорим не спеша.

– У меня муж есть. Вы в своём уме? – Жамил попыталась изобразить обиду. – Выбросьте такие мысли из головы. Чтобы больше этого не слышала, поняли? Скажу вашему старшему – колотушек получите. Хватит и того раза, когда побеспокоили… Хорошо ещё, люди не узнали.

– Я ночью приду, – твёрдо сказал Комил. Дальнейших её слов он не слышал, словно оглох. – Вон в той виноградной борозде буду ждать.

– Не утруждайтесь, – засмеялась Жамил. – Ночью муж здесь будет. Узнает – голову вам сорвёт, как недозрелую дыньку.

– Ничего не знаю. Усыпишь мужа и всё равно выйдешь!

Комил, с налившимися кровью глазами, резко бросил эти слова и вышел в калитку. Хоть ему очень, очень хотелось остаться и разговаривать с женщиной, заставил себя пойти домой.

Сердце ещё долго колотилось.

Когда стемнело, он поспешил к Раззоку. Тот лежал без сна на постели, расстеленной на суфе под большим раскидистым карагачом. Думая о предстоящей ночной встрече, то пугался, то замирал от сладкого волнения.

– Эй, Раззок, спишь? – Комил на ощупь добрался до него.

– Тише, мать услышит, – Раззок поднялся и сел на край суфы. – Может, сегодня отложим? Неспокойно мне…

– Будем слушать твоё трусливое сердце – так и помрём, не узнав, что такое женщина, – Комил сел. – Завтра то же самое повторишь… Лучше послушай…

– Эй, молчи, – Раззок толкнул его в руку, зная, что сейчас тот скажет что-нибудь непристойное. – Кто-нибудь услышит – нехорошо. Выйдем на улицу, там расскажешь.

Они выскользнули наружу.

Ночь была светлая. Взошедший молодой месяц заливал всё молочным светом. Стрекотнули один-два кузнечика; со стороны пруда Мавлон-поччо донеслось кваканье, где-то лениво

гавкнула собака. Потом опустилась мёртвая тишина, тревожившая сердце. Утомлённые дневным трудом люди спали: берегли масло для ламп и хотели пораньше встать за работу.

– Страшно-то как, – испуганно сказал Раззок. – Джинны именно в такие тихие ночи гулять выходят. Бабушка в детстве рассказывала.

В эту минуту на другой стороне улицы что-то зашуршало.

– Вот! – Раззок придвинулся к Комилу.

– Брось, вечно пугаешься. Соседский осёл остатки корма жуёт… Лучше спроси, что я днём сделал.

– Говори!

Они сели под старой ивой на берегу арыка, где трава по краям высохла, а дно покрылось коркой. Комил старыми калошами с хрустом давил сухую землю. Волновался.

– С Жамил договорился, согласилась. Ночью пойду, – губы Комила растянулись в улыбке. – Знаешь, такая красавица! Увидел – голову потерял. Колени дрожали.

– С каждым днём всё большим бабником становишься, – упрекнул Раззок, сгорая от зависти. – Так и до того дойдёшь, что народ камнями забросает. Ладно бы тебя одного, но, похоже, и мне заодно четыре-пять камней достанется, умру с позором.

– Трус ты, Раззок! Надо немного смелее быть. Не станешь действовать – ничего на этом свете не добьёшься. Дожил до этих лет и понял: жизнь неверна, век короток. Свою долю надо вырывать силой! Иначе будешь волочиться, как собачья задняя лапа. Не рискнёшь – ничего не выйдет. Друг, и те, кто дома, у жены под боком прячется, тоже умирают: с голоду, от басмаческой или солдатской пули.

Раззок хотел было прочесть наставление, но с дерева с шумом вспорхнула какая-то птица, вспугнула остальных, и наверху начался переполох.

– Змея в гнездо залезла. Птенцов съесть или яйца проглотить, – Комил поднял голову.

– Не пялься в небо, – сказал Раззок, забыв, что хотел сказать. – Если испуганные птицы обделаются, осрамят тебя.

– Оставь птиц, друг, помоги! Как бы Туйчи, закончив работу, не вернулся домой, не поймал меня в самый разгар и голову не оторвал… Придётся тебе к речке сходить, за мельницей последить. Как только он свою «лавочку» закроет, прибежишь, предупредишь.

– Одному?! – Раззок растерялся. – Что я, с ума сошёл, среди ночи на мельницу идти, где джинны кишат?! Ты удовольствие получишь, а я страдай? Дураков нет!

Такого предложения Раззок от Комила не ждал. «Значит, – подумал он, – только о себе заботится, а я – прислужник его грязных желаний! Не выйдет. Ума ещё не лишился».

Но Комил не отступал:

– Я так и думал: хоть умру, не спросит, как я. Прав оказался. Не станем же мы оба разом врываться к чужой жене, как дураки, нашедшие золото. Сначала один, потом другой… Хочешь – ты иди, а я за Туйчи послежу…

Такой поворот Раззока тоже не устроил. Жамил он боялся ещё больше, чем мельничных джиннов.

– Ладно, – нехотя согласился он. – Пойду на мельницу, там опасности меньше. Джинны самое большее раз-другой напугают, а камнями, как люди, не забьют… По крайней мере, я не слышал… Погоди, сколько ты там будешь? Мне до утра сидеть?

– Залезь на абрикос на другом берегу и смотри. Закончу «дело» – сам приду. Если быстро не приду, значит, разговор затянулся, понял? Если Туйчи начнёт собираться, прибеги раньше него и из-за дальнего конца двора трижды протяжно свистни.

Комил, крадучись, направился к дому Туйчи, а Раззок неохотно пошёл к мельнице.

Мельница стояла за деревней у речки и работала от родниковой воды, поступавшей в деревню. Днём воды становилось мало, колесо она крутить не могла. Ночью прибывала. Потому Туйчи днём, если не насекал жернова, занимался домашними делами, а молол по ночам. На

свою беду обзавёлся такой женой. Хотя сам с другим её не заставал, о её легкомыслии догадывался, чувствовал в глубине души. Бедность и отсутствие родных, на которых можно было бы опереться, которые вступились бы за него, заставляли молчать.

Вообще-то этот парень был гордым и дорожил честью, но тяжкие беды сделали его словно тупым и бесчувственным. Впрочем, и это, пожалуй, несправедливо: таким он казался со стороны. В душе мучился множеством мыслей, чем-то возмущался, хотел распрямить грудь, кому-то воспротивиться, закричать во весь голос – но возможности не было. Знал своё место! Понимал: сколько ни тужься, воробей останется воробьём. Смирился с играми судьбы, согласился жить так – скромно, рабом своей жизни, а не хозяином.

Много горечи вкусил этот человек. В голодные годы, когда ушёл батрачить в сторону Дайрабада, жена и пятеро детей умерли от малярии. Целый год не мог вернуться, работал подёнщиком. Думал, в тех краях и умрёт. Но уцелел, вернулся в деревню – и пожалел, что остался жив. Дом пустовал; ему чудились следы, тени детей, дорогих больше собственной жизни, слышались их голоса. И прежде особой мудростью не отличался, а после этого словно отупел: разговаривать не любит, ни с кем не сходится. Весь день один, с опущенной головой, хлопочет по своим делам. На сто вопросов – один ответ. Никого не обижает, в глаза не смотрит. Будто совершил тяжкий грех, глядит в землю, погружённый в себя. Порученное дело исполняет добросовестно.

Людям такое поведение не нравилось. Те, кто знал его прежде, жалели, но и они толком с ним не разговаривали. Считалось, что в своих бедах он сам виноват. Народ ведь пренебрегает теми, кто себя не ценит, не уважает, у кого нет родни. Молодёжь и вовсе за человека Туйчи не считала, насмехалась. Комил был одним из них.

Мельница, где он работал, принадлежала старшему из мирзо, Ходжа-бобо. Туйчи взяли как работника дешёвого и совестливого. Десятую часть привезённого зерна удерживали за помол, и она шла мирзо. Туйчи они давали муку по своему усмотрению. И всё-таки он был доволен работой, боялся потерять даже это пыльное место.

Жамил изгнали из прежней деревни, обвинив в распутстве. По воле судьбы она попала к знакомому Ходжа-бобо, и тот привёз её в Гултепу. Ходжа-бобо – то ли ради доброго дела, то ли потому, что расходов это не требовало, то ли желая прослыть «щедрым баем» – выдал её за Туйчи. Вот уже год Жамил здесь. Нынешняя жизнь не нравилась, но приходилось терпеть: родители от неё отреклись, из деревни изгнали с позором, идти некуда. Сначала женщина казалась скромной и разумной. Многие говорили: «Лучший виноград собаке достаётся». Постепенно выяснилось, что «лучший виноград» уже немного «помят».

Раззок, тревожно озираясь, добрался до указанного Комилом абрикоса. В тусклом лунном свете каждый куст, каждое дерево казались джиннами. Съёжившись, словно кто-то сзади вот-вот схватит за горло, он прислонился к стволу, боясь даже обернуться. Страх не прошёл. Теперь казалось, что та тень уже забралась на дерево.

Отсюда, вопреки словам Комила, следить за мельницей было невозможно. Слышались шум воды, скрип колеса и ровный, глухой, протяжный стук жернова, действовавший на нервы. Но есть ли там человек, не разобрать: ни движенья, ни тени. Даже если Туйчи на месте и начнёт собираться домой, обогнать его не получится: абрикос на другом берегу. Пока перейдёшь речку, Туйчи уже в деревню войдёт. Не бежать же за ним, задыхаясь, с криком: «Стой!»

«Пропал, – подумал Раззок, не заметив у мельницы ни души. – Туйчи домой ушёл, поймает Комила, будет скандал!»

Войти на мельницу и проверить, там ли Туйчи, Раззок боялся.

«Если Туйчи дома, я не виноват. Сказал: залезь на дерево, смотри. Так и сделаю. Убьют – пусть на себя пеняет, я не заставлял», – решил он и, ухватившись за толстую ветку, полез наверх.

Абрикосы поспели в изобилии! Раззок забыл страх, захотел наесться. Дерево росло в саду Ходжа-бобо: днём сюда не пройти, побьют. А теперь свободно: этот край доверили мельнику, не проверяют. Сторож, наверное, спит в шалаше на другом конце сада.

Когда Раззок лез на дерево, видимо, раздавил вонючего жука: от правой руки шли мерзкий запах и привкус. Понял это, положив абрикос в рот. Скривился, сплюнул и вытер руку о грубые штаны. Но куда там – запах въелся. Принялся искать плоды на ощупь левой рукой.

Вспомнил Нисо. Почему-то почувствовал отвращение и к себе, и к Комилу. «Этот бабник ещё многих опозорит», – подумал он. Слова о невестке Ойсары-хола особенно мучили теперь. «Разве можно так растоптать честь скромной женщины?» – спросил себя и ощутил гадливость. Неужели всё решается такой подлостью: почувствуют чью-то слабость – и хотят использовать ради своей выгоды, осмеять, унизить? Неужели жизнь такая?! Неужели в этом и есть её суть?! Может, потому он до сих пор и волочится, как собачьи задние лапы, не обрёл ни своего места, ни права голоса, что сам так не поступал?

В самом деле, прежде Раззок над этим всерьёз не задумывался. Сегодня же, оставшись один среди ночи, то ли от страха, то ли от зловония раздавленного жука, почувствовал уныние и тоску.

Туйчи стал посмешищем, люди без стеснения тянули руки к его жене потому, что он слаб.

«Сильного убивают, слабому честь растаптывают».

Аппетит Раззока пропал. Прежний страх сменился непонятной тягостью.

***

Поползли слухи: Бекмурод и Назар таинственно исчезли, ввязались в какое-то дурное дело. Месяц их не было в деревне. Когда вернулись, во взглядах встречных мелькало подозрение. Оба это замечали, но каждому по отдельности не объяснишь. С кем разговаривали, тем объяснили; остальные продолжали распускать слухи кто во что горазд.

Бекмурод не привык обращать внимание на мелочи, бегать за пересудами: махнёт рукой и идёт дальше. Но эти слухи – другое дело. Они касались не только его, но и семьи, её безопасности! Он тревожился. И отступить с выбранной дороги не мог: его записали. Насколько понимал, обратного пути отсюда нет!

К тому же, хоть он ещё толком ничего не сделал, Полвон выплатил жалованье. Бекмурод съездил на пятничный базар, купил овцу, зарезал, обжарил мясо и уложил в большой глиняный сосуд.

Теперь у него были конь и ружьё. После учений Полвон проникся к нему расположением и подарил гнедого коня старше шести лет, небольшого, с крепкими ногами и упитанной холкой.

Ишанов и людей власти народ глубоко уважал. Бекмуроду тоже, как человеку с ружьём, когда он бывал на базаре или останавливался в чьём-нибудь доме, из страха и почтения подносили то одно, то другое, кормили досыта. Он ещё не привык, чувствовал неловкость, но всё-таки было приятно.

Через четыре дня после возвращения из гор приехал посланец Полвона – Теша, тот самый, что уговаривал Назара вступить в отряд. Ему было около тридцати, среднего роста, худощавый, жилистый. Велел ночью прибыть к Полвону. Обоим было приказано всегда держаться наготове: вызвать могли в любую минуту.

Вечером они простились с семьями. Жена Бекмурода, Бону, плакала. Она похудела, лицо постарело, у висков появились первые седые волоски. Крупные косы с чёрными накладными прядями свисали набок; голову покрывал выцветший квадратный платок, поверх него – лёгкая накидка.

– Чего траур устроила? Не помру – через два-три дня вернусь, – прикрикнул Бекмурод, затягивая подпругу, укрепляя седло.

Но привычное «не помру» на этот раз прозвучало жестоко. Он и сам вздрогнул: слова, которыми обычно лишь грозился, теперь отозвались сущей правдой. Продевая кожаный ремень подпруги в большую пряжку, не оборачиваясь, наказал старшему сыну Нодиру:

– Пока меня нет, за домом присматривай. Будьте начеку. Младших никому в обиду не давай!

Новому положению Бекмурода радовался только Нодир, у которого на лице выступили первые прыщи, а голос огрубел. При всяком случае старался прокатиться на отцовском коне, брал ружьё, разглядывал, гладил блестящий приклад, пробовал лязгать затвором. Казалось ему, нет звука прекраснее и притягательнее этого лязга. Хотелось выстрелить, но Бекмурод не позволял: «Оставь, не подходи к нему. Лучше торговле учись, хоть на поллепёшки без труда заработаешь».

И сейчас Нодир с завистливым восхищением смотрел на ружьё у отца за плечом.

– Не увлекайся ружьём. Умный человек другим интересуется, – одёрнул его Бекмурод. – Оно никогда к добру не приводит…

Бекмурод взял у жены шерстяную перемётную суму в красную, жёлтую и белую полоску, с кистями по краям, и перекинул через обтянутое кожей седло. В один карман положили хлеб и небольшой бурдюк с водой, в другой кое-как втиснули принесённый Нодиром мешочек конского корма. Бекмурод снял ружьё с плеча и прикладом вниз сунул в карман с хлебом и водой.

– Ладно, я поехал, – сказал он, вставляя ногу в стремя. – Не начинайте раньше времени горевать, держитесь бодрее. Сколько лет на купкари ездил – и ничего…

Он поддал коню и выехал со двора. Семья хорошо знала: это не купкари…

На этот раз план Полвона был смелее и жёстче. Завтра в Жумабазаре торг, соберётся народ. Он намеревался объявить, что получил звание юзбаши, что края Мингии переданы ему, и собрать налог. Учения измотали джигитов и поглотили те небольшие средства, которые удалось накопить.

Гостевая и сени были полны джигитов. Их собралось больше тридцати.

– Я не собираюсь грабить народ, – сказал Полвон, когда доели плов на льняном масле. Вытянул ноги, полулёг на подушку. – Поймите это и другим объясните. Нужны деньги на войско, оружие, снаряжение, новых людей… Понадобятся кони. Без средств не обойтись. Не привлечём население на свою сторону, не поведём народ за собой – всем нашим делам грош цена. Прячась по укромным местам, ничего не добьёшься: мы ведь не басмачи. Хозяин страны должен быть у народа на виду… Завтра пойдём в Жумабазар, призовём людей, с каждого соберём по щедрости его.

– Вместо красивых речей еды бы побольше приготовил. Живот пустой, – проворчал сидевший в сенях Рахмон, обращаясь к Бекмуроду.

– Я наелся, – ответил Бекмурод, почему-то чувствуя себя виноватым и жалея, что опять оказался рядом с ним.

– Разве это живот? – повысил голос Рахмон. – Если двух кусков хватает!

Бекмурод и Назар не входили в число приближённых Полвона. Чужаки – на них смотрели как на неродных, посадили в сенях вместе с этим обжорой. Полвона же окружали давние знакомые, главным образом парни из его деревни. К остальным пока относились словно к незваным гостям. И Бекмурод, и Назар чувствовали разницу между собой и его близкими людьми.

После ужина разошлись отдыхать. Полвон велел лечь пораньше: на рассвете в путь.

– Трудно нам, видно, будет с ними сойтись, – сказал Бекмурод Назару, когда они за двором, под карагачом, устроили себе постели из чапанов и конского снаряжения. – Всё-таки чужие. Как бы в первом же бою нас не угробили.

– На плохих людей не похожи, – ответил Назар. – Поладим. Если не считать грубости, терпеть можно.

– Грубость ладно. Ты в глаза им посмотри: все шныряют туда-сюда. Всю жизнь разбойничали. Им, что ли, веру возвращать? За веру тоже лучше бы воевать тем, кто различает добро и зло, знает «бисмиллах». А эти – сплошные воры…

– Судя по твоим словам, тебе теперь всё это разонравилось? – спросил Назар, глядя на звёзды.

– Нет. Я не такой, как ты: начал дело – доведу до конца. – Бекмурод приподнял голову с седла, тревожно огляделся и снова лёг. – Просто говорю… Прежде я тех, кто за веру борется, иначе представлял. Белые бороды, чистые рубахи, белые чалмы…

– Такие только в мечети бывают, на войне нет, дурья голова!

– Не знал, вот и думал… Я к тому, что дальше трудно будет. В их телегу сел – заставят и их песню петь. Я на чужое добро не зарился, а теперь, видно, придётся грабить. Из слов Полвона так понял.

– Жизнь такая. Сидишь тихо дома – всё до последнего сдерут, – негромко сказал Назар. – Других не жалей, люди того не стоят. Узнают, что слаб, жалостлив или боишься, – пропал. На голову залезут, затопчут. Знаешь, зачем человеку зубы? Ошибаешься, если думаешь, только пищу жевать. Иной раз ими и людей пугают. То, о чём Полвон говорит, на самом деле ни борьба за веру, ни грабёж. Просто попытка прожить, не умереть с голоду, не оказаться под чужими ногами. Потому не мучай себя. Прикажут убить – убьём. Лишь бы самим уцелеть. Что тебе до других? Кто-нибудь обо мне и о тебе подумал, позаботился? Станут наши дети пухнуть и умирать с голоду – кто придёт с куском хлеба? Никто! Сам за себя, сирота.

Бекмурод не смог возразить его спокойным, уверенным словам. «Кого послушаешь, тот и прав», – подумал и сказал:

– Ладно, спать будем. Завтра хлопотный день.

Повернулся на бок. Долго ещё ворочался без сна: и земля твёрдая, и завтрашние заботы не давали покоя.

Утром Полвон сам разбудил джигитов, позвал на утреннюю молитву. Потом они ухаживали за конями, позавтракали. Приближённые Полвона раздали всем патроны, и отряд приготовился выступить.

Но перед дорогой Полвон произнёс небольшую речь:

– Джигиты! Сегодня впервые берёмся вместе за серьёзное дело. Покажем народу, кто мы, призовём на праведный путь. Лучшее место для этого – базар. Самая действенная трибуна – базарная. Ею и воспользуемся. Пусть народ знает: он больше не бесхозная толпа на улице, не сборище. У него есть хозяин, глава, защитник. Это и донесём до людей… Никто не должен забывать: мы не басмачи, не разбойничья шайка, а войско. На народное добро не зариться. С каждого берём по щедрости его, остального не трогаем… Чтобы не пошёл слух: «Полвон собрал людей и грабит базар». За грабёж народа наказание будет суровым… Кое-кого из вас знаю: в разбое собаку съели. Раз жалованье плачу – бросайте эту привычку. Плохо кончится… И ещё: встретим солдат – не бежим, вступаем в бой. Никто не отступает. Любое действие – только с моего разрешения. Не подчинившиеся приказу пусть пощады не ждут! Трусов на месте расстреляем… Джигиты, мы собираемся сражаться за правое дело, а не в прятки играть. Каждый обязан понять свою ответственность. Самовольство, непокорность не пройдут. Вы теперь в войске. Детство кончилось. Ошибка, даже малое недоразумение, решает жизнь и смерть. Кто хочет остаться жив – подчиняется мне безоговорочно.

– Ну и напугал, – ухмыльнулся Рахмон, толкнув стоявшего рядом Сафара рукоятью плети. – Ещё пару слов скажет – штаны намочу.

Сафар, хоть и был болтуном, то ли под впечатлением от речи Полвона, то ли по другой причине, промолчал, только хихикнул.

Бекмурод, поневоле всё время наблюдавший за Рахмоном, разозлился. Решил: скажет ещё что-нибудь – прямо в лицо бросит: «Никто тебя сюда силой не тащил. Не хочешь – сиди дома».

Полвон закончил и велел садиться на коней.

Базар был недалеко: поторопись – доберёшься за то время, что варится плов. Но Полвон не хотел с самого утра пугать людей и разгонять торговлю. Собирался прибыть в её разгар, когда солнце поднимется на три-четыре тополя: и народу больше, и торг в полном ходу.

Жумабазар стоял у реки. С одного края – крутой берег, с другого – кладбище, с остальных – деревня. Площадь невелика. С западной стороны – скотный рынок, дальше – лавки мелочных товаров и тканей, отделённые низкой глинобитной стеной. Фрукты и овощи продавали вперемешку с мелочным товаром. Отдельно торговали только сёдлами, сбруей, ярмами, верёвками и прочим скотоводческим снаряжением: по обе стороны пыльной дороги при входе на базар.

Полвон распределил джигитов и велел окружить базар с трёх сторон. С четвёртой, со стороны реки, никто ни сбежать, ни ворваться не мог.

Бекмурод остался у кладбища с Назаром, Рахмоном, Сафаром и Окбутой. Ещё на учениях в горах Полвон назначил его десятником и прикрепил к нему этих джигитов. Бекмурод сразу понял: это лишь формальность. Но теперь, при распределении, не требовалось перечислять всех поимённо: скажут «люди такого-то» – и они выходят. Его людям поручили охранять западный край у кладбища.

– Кто побежит сюда – возвращайте. Для устрашения можно в воздух выстрелить, людей не обижать. Народ и его мнение важны, нужна его поддержка. Но никого не выпускать: пойдёт к солдатам, приведёт беду. И за теми, кто оттуда едет, следите. Увидите всадников – сообщите. За эту сторону, Бекмурод, головой отвечаешь.

Оставив их здесь и раздав поручения остальным, Полвон с четырьмя постоянными спутниками, односельчанами, въехал в скотный рынок. Добрался до середины и, чтобы привлечь внимание, выстрелил из маузера в воздух.

Вмиг на базаре началась суматоха. Люди жили настороже: увидят нескольких вооружённых – пугаются, стараются бежать. Кто-то бросился и к Бекмуроду, но, заметив их, повернул обратно. Только трое продолжали идти: седобородый старик и два подростка. Видимо, внуки. Старик вёл их, надеясь: «Люди войска мою бороду уважат».

Рахмон вышел навстречу:

– Кошелёк вынимайте! – грозно потребовал он.

Старик такого обращения не ждал, даже возрастом своим прикрыться не сумел. Подростки побледнели и спрятались за его спину.

– Мы вернёмся… – Старик хотел повернуть, но Рахмон спешился, преградил дорогу и, вцепившись, вырвал светло-серый кожаный кошелёк, завёрнутый в пояс.

– Овцу хотели купить, – сказал старик, не находя слов, протягивая к кошельку дрожащие руки.

– Трясёшься, будто жизнь отнимают, а?! – холодно усмехнулся Рахмон. – Голова цела – благодари и иди домой. Жив будешь – деньги найдутся.

Бекмурод, до сих пор смотревший на это и не знавший, как поступить, вскипел:

– Верни деньги и отпусти старика! – отрезал он.

Остальные молчали, ждали, чем всё закончится. Никому не хотелось лишней ссоры.

Рахмону это не понравилось.

– Не зря говорят: «Хочешь узнать узбека – дай ему должность», а? Друг, десятник – это вроде пастуха при десяти овцах. Ни власти у тебя, ни полномочий… Я, если хочешь знать, жизнью рискую не затем, чтобы кого-то обогащать и смотреть, как другие грабят. Моя забота – пропитание. Не каждый же день базар захватываем. Лучше молчи, добычу поделим.

Бекмурод молча снял ружьё с плеча, зарядил, направил на Рахмона и велел растерянным, дрожащим людям:

– Берите кошелёк, возвращайтесь. Никто вас не убьёт, не съест, денег не тронет. Послушаете Полвона – потом судить будете.

Старик и внуки замялись.

– Идите, – сказал им и Назар. Он понял: не поддержит сейчас Бекмурода – начнётся беда.

Рахмон бросил кошелёк на землю, сердито вскочил на коня и, рванув поводья, поскакал прочь. Старик торопливо поднял кошелёк, и все трое, не оглядываясь, побежали, исчезли в базарной толпе.

Бекмурод вновь испытал то чувство, что в ночь, когда отняли зерно. Словно снова растоптали его честь. Долго стояли перед глазами руки старика, с надеждой и мольбой тянувшиеся к кошельку. Понял: такой способ кормить себя и детей не для него. Мучился, тосковал. Лучше было кетменём работать. Но теперь назад дороги нет!

«Не моя вина, – утешал он себя. – Не виноват я, что родился в такое время! Не виноват, что людская жизнь так устроена!»

Вскоре прискакал посыльный и увёл Рахмона, ворчавшего и бранившегося возле кладбища, собирать взносы с народа. Бекмурод вздохнул свободнее.

На базаре творилось такое, что собака хозяина не узнала бы. Джигиты Полвона собирали взносы. Одни отдавали молча, другие кричали на весь рынок. Несмотря на речи и объяснения Полвона, расставаться с добром больно, словно с жизнью; никто не хотел отдавать деньги. Налоги никогда и никому не нравились!

Прошло немало времени, солнце поднялось высоко, а суматоха не стихала. Доносились недовольные крики. От кладбища весь базар не просматривался: слышалась лишь странная смесь людского гула, мычания, ржания, блеяния, ослиного рёва. Среди животных мелькали головные уборы людей: большие чалмы, плоские шапки, новые и старые, яркие и выцветшие, русские фуражки.

Бекмуроду стало скучно. Место неприятное: с одной стороны – мёртвая тишина, напоминающая, как ничтожна жизнь; с другой – люди спорят, перебивают друг друга, будто бессмертие им обеспечено, будто вечно будут жить в этой суете. Не думают, что многие, некогда споривших так же, уже здесь, рядом, смешались с землёй. Не представляют, что придёт время – и каждый незаметно, без шума перейдёт на сторону этой тишины. Думать об этом некогда. Ведь на базар не идут размышлять о смерти. Базар – место, где жизнь кипит сильнее всего, где существование, борьба за пропитание достигают высшей точки.

Бекмурод пришёл не торговать, потому и задумался глубоко о жизни. Надеясь развеять тоску, велел своим джигитам оставаться на местах и пошёл пешком вдоль обветшалых глинобитных стен кладбища.

Кладбище старое, на дальнем краю могилы сравнялись с землёй. Лишь небольшой бугорок или густая жёлтая трава указывали, что здесь захоронение. Разглядывая их, Бекмурод вышел к краю, примыкавшему к широкому пустому полю. Речной берег был высок, воду сюда подвести невозможно, потому всё заросло колючками.

Он смотрел вдаль, на равнину, дрожавшую в мареве, и вдруг заметил всадников, поднимавших пыль и ехавших сюда. Сначала не придал значения: наверное, на базар. Когда приблизились, понял: на торопящихся торговцев не похожи. Побежал обратно.

– Окбута, скачи, сообщи Полвону: всадники едут, на солдат похожи, – сказал он, задыхаясь, и приказал остальным: – Привяжите коней, за мной. Из-за стены наблюдать будем.

От страха у них заколотились сердца: с врагом ещё не встречались. Особенно перепугался Назар:

– Не шути, Бекмурод. Сердце у меня слабое. Помру – за мою кровь ответишь.

– Других дел у меня нет? – Бекмурод понял, что слишком всполошил их, и заговорил спокойнее. – Может, не солдаты… А если недобрые люди, не должны застать нас врасплох.

Когда Полвон с четырьмя-пятью джигитами подъехал, всадники приблизились, и уже стало ясно: солдаты.

– Где? – спросил Полвон, не слезая с коня, подъехав к Бекмуроду.

Бекмурод показал рукой: над степью поднималась пыль.

– Будем сражаться, – сказал Полвон. – Бекмурод, стреляешь отсюда, никуда не уходишь. Пока близко не подъедут, себя не выдавайте. И мимо не пропустите. Рахмон, собери остальных, идите к домам, на крыши поднимайтесь. Четверых для охраны добычи хватит.

Полвон повернул обратно.

Бекмурода охватила дрожь. Никогда прежде не боялся так, никогда с такой ясностью и ответственностью не ощущал минуту, решающую судьбу, жизнь и смерть. Даже когда убил человека и покинул деревню, не тревожился так сильно: тогда верил, что сбежит и от всего избавится. Теперь бежать некуда. В глубине души подумал: «Пропал». Побледнел, тело похолодело, руки и ноги онемели.

Остальным было не легче.

– Да, лёгкого хлеба не бывает, – Назар, белый как полотно, зарядил ружьё и попытался пошутить, но вышло грубо. Оставил шутки, посерьёзнел. – Как думаешь, Бекмурод, так и помрём, бродя как собаки, без могилы, без заупокойной молитвы?

– Ты ведь уже на кладбище, чего ещё хочешь? – Бекмурод засмеялся, стараясь ободрить его. – С лицом что? Побелел. Помнишь, когда к Ходжа-бобо на хашар стены бить ходили, ты глиняное блюдо разбил? Даже тогда так не пугался… Не бойся, даст Бог, всё хорошо будет. Солдат одним махом стряхнём, как шелковицу. Мы же в укрытии.

Щёголь Остон, не желавший запылить светлую шёлковую рубаху и блестящий ремень, некоторое время ходил туда-сюда, не зная, что делать. Остальные выбирали удобные места за стеной, опускались на колени, готовили ружья и патроны.

– Ложись уже, – наконец сказал говорливый Сафар. – Какая разница, в чистой рубахе умрёшь или в пыльной? Всё равно снимут. Хи-хи…

– Чтоб слова твои изо рта тебе на ворот прилипли, – Остон вырвал пару пучков сухой травы, подстелил под колени, положил на стену, о которую собирался опереться. – Не умирать сюда пришёл. Хотел бы – дома лежал бы, ноги вытянув.

Всадники приблизились, и стало отчётливо видно: красные солдаты.

Это был первый бой Бекмурода. Он не знал, что делать, не представлял. После горных учений чувствовал себя настоящим полководцем, будто постиг все тайны войны. Но, как ни верил в себя, в настоящем бою не знал, как поступить. Оказалось, выученное не всегда годится для жизни.

Солдаты приближались. Их около десяти, вооружены. Уже ясно видны пыльная, грязная одежда, заросшие бородами лица, почерневшие и покрасневшие на солнце.

– Среди них много узбеков, – удивился Сафар, словно открыл великую истину.

– Добровольцы, наверное… Предатели, отступники. Стреляй без жалости.

– Чего им здесь надо? – спросил кто-то.

– Наши взносы отнять хотят. И спасителями прослыть, и пограбить заодно, нечестивцы.

Бекмурод оборвал разговор, нажал на спуск. Грохот оглушил; Остон вздрогнул, пригнул голову. Пуля попала в одного из скачущих коней, и тот рухнул на грудь.

С обеих сторон зачастили выстрелы, поле превратилось в настоящий ад. Разгорячённый Бекмурод уже не замечал соседей, стрелял беспорядочно.

Солдаты развернулись, отскакали за пределы досягаемости пуль, оттуда ещё пару раз выстрелили и унеслись обратно, как и приехали. Не ожидали огня со стороны кладбища, растерялись.

Один раненый конь корчился там, где упал. Один солдат погиб, его лошадь убегала далеко от места боя. Всадник, потерявший коня, уехал позади другого.

Когда враг побежал, Полвон спустился с крыши, собрал джигитов, пошёл в атаку, но догнать солдат не удалось. К тому же, если долго преследовать, базарная толпа растащит добычу, собранную под проклятия. Полвон вернулся. Один джигит зарезал корчившегося коня, чтобы мясо не стало запретным. Другой спешился, снял с убитого ружьё и снаряжение. Погибший был средних лет, с рыжеватыми усами, отросшей бородой. Лицо от жары и пыли стало красновато-бурым; на животе и плечах мундира выступили белые следы соли, сапоги выцвели. Пуля попала в сердце, одежда была мокрой от крови.

– Сбросьте его в овраг, пусть падальщики съедят, – сказал Полвон собравшимся поглазеть базарным людям. – Собаке – собачья смерть!

Боязливые уже успели попрятаться. Любители зрелищ и те, кто не мог расстаться со своим добром, бросить его, оставались на местах.

Бекмурод подумал: теперь уйдём, прежде чем солдаты вернутся с подкреплением. Но Полвон уходить не собирался. Знал: бежать в минуту победы – уронить честь, авторитет хозяина края. Если останется, будет в глазах народа ещё грознее, внушительнее. Понимал настроение толпы, её взгляды и мысли.

Въехал в середину базара, стал выяснять, кто сообщил солдатам.

Народ без предателей не бывает. У кого-то терпения не хватает, кто-то хочет выслужиться, у кого-то страх берёт верх – и доносит. Грозные всадники, стрелявшие в воздух, разожгли в людях страх. Увидев, как солдаты разбежались, народ решил: настоящая сила, настоящая власть – эти.

Один из джигитов Полвона, ходивших среди толпы, выяснил, что солдатам сообщил мастер, чинивший телеги у входа на базар. Ему заломили руки за спину, притащили к Полвону. Парень лет двадцати, среднего роста, с редкими усами и бородой. От худобы выступали скулы, глаза запали, густые брови словно прилипли к глазницам. Грязная грубая рубаха, такие же штаны, на выбритой голове – платок из суровой ткани. Испуганные, глубоко запавшие глаза метались.

– Ты донёс? – грозно спросил Полвон, повысив голос.

– Ваши люди все деньги у меня отняли, – бледное лицо парня дёрнулось, губы задрожали.

– На вопрос отвечай, мерзавец! Ты солдат позвал?

– Я на женитьбу деньги собирал. Всё забрали, – жаловался парень. Ни о чём другом думать не мог.

– Он, он! – Рахмон подъехал прямо к нему. – Я видел: вышел с базара, на рыжем коне куда-то поехал. Потом опять появился.

Больше парень ничего не сказал. Словно прикусил язык. Опустился на колени и, с дрожащими губами, громко заплакал.

– Предатель! – сказал Полвон и приказал: – К той иве привяжите. Пусть остальным пример будет. Пусть увидят, что ждёт того, кто свой народ продаёт… Теперь мы хозяева этой земли. Ни неверным, ступившим нечистыми ногами на нашу священную землю, ни их прислужникам пощады нет!

Парень закричал, сопротивлялся, но руки связаны, бесполезно было бить ногами. Крепкие джигиты поволокли его по базарной пыли; дрожащие ноги оставили две слабые полосы. Почему-то никто не решался наступить на них. Толпа расступилась, затаила дыхание и тревожно смотрела, что будет дальше. У торговца верёвками взяли верёвку и привязали парня к стволу обрезанной ивы.

– У меня мать старенькая! – кричал он. – Не убивайте!! Больше не буду!!! Каюсь… Кто за матерью смотреть будет, она старая?! Братья её умерли, отец тоже… Никого у меня нет! Не убивайте!!! Я ещё даже не женился… Мать одна останется…

Крик разнёсся по всему базару. Зрители задрожали, у многих блеснули слёзы. Сказать что-нибудь никто не смел, смотрели молча.

– Бекмурод, – сказал Полвон. Тот, с холодом в сердце ожидая развязки, нервно дёргал поводья. – Пристрели этого предателя!

– Это… – Бекмурод замялся, не зная, что сказать.

– Стреляй! – повторил Полвон. – Я отвечаю!

Бекмурод хотел сказать «нет», но взглянул на лицо Полвона, потемневшее от гнева, на горящие глаза, на руку, тянувшуюся к маузеру в деревянной кобуре, – и передумал. Откажется – и сам не уцелеет. Перед толпой честь войска превыше всего. Сейчас приказ курбаши должен быть выполнен безоговорочно. Не время спорить!

На базаре вдруг стало тихо, словно водой всё залили. Люди, ожидая, будто даже не дышали. Никто не шевелился, все застыли досками. Даже привязанный парень на мгновение умолк, замер: наверное, пытался до конца понять происходящее.

Бекмурод выехал вперёд. Тишину снова разорвал отчаянный крик. Конь вздрогнул, бросился в сторону. Бекмурод натянул поводья, успокоил его, вынул ружьё из перемётной сумы и остановился напротив парня, белого от страха, дрожащего в предсмертной панике и кричавшего изо всех сил. Между ними было больше десяти шагов. И всё же Бекмурод отчётливо видел умоляющий взгляд. Пожалел его, но медленно отвёл затвор, зарядил ружьё. Подождал, пока беспокойный конь утихнет.

«Не я, так другой выстрелит, – пытался оправдаться он. – Через меня или через другого – какая разница? Дни этого парня сочтены. Видно, судьба ему погибнуть от моей пули. Не виноват я. Не мой это грех. Бог свидетель, не по своей воле делаю! Пусть Бог примет беднягу в Свою милость!»

С этими мыслями прицелился в голову. Конь успокоился. Парень вдруг умолк, посмотрел в направленный на него ствол, попытался отвести взгляд, отвернуться, но верёвка вокруг шеи не дала. Крепко зажмурился и что-то зашептал. Бекмуроду захотелось услышать: о чём думает перед смертью, чего желает? Проклинает его? Может, молится… Но слов не разобрать, только шёпот.

Грянул выстрел, всё вокруг содрогнулось. Парень дёрнулся, голова повисла. Пуля попала в правую бровь; из маленького отверстия потекла кровь. Тело ещё некоторое время сводило, трясло. Это дрожала плоть, которую уже покинула жизнь.

По базару прокатился странный гул. Бекмурод понял: это голос страха. Прежде нигде такого не слышал – голос страха перед смертью.

Полвон был спокоен.

– Вот, видели? – Он повернулся к толпе, стал ловить взгляды испуганных, широко раскрытых, мечущихся глаз. – Такова судьба предателя, прислуживающего безбожникам. Это война! Пощады не будет никому. Каждый должен знать, как жить и поступать. На такой войне ошибки не прощаются, за каждую вину платят жизнью. Это не моя жестокость, не моя суровость – так требует жизнь, требует война. Не станем так поступать – народ рассеется, страну растопчут… Повторяю: бек назначил меня юзбаши, но крепости, которой я правлю, у меня нет. Мы живём среди вас. Не будем собирать с вас взносы – как бороться с неверными? Пришло время ставить благо страны и веры выше мелкой личной выгоды. Я не ради своего дома и детей стараюсь. Всё это идёт на борьбу с безбожниками. Не сердитесь из-за нескольких отданных монет. Прежде всего ради вас и ваших детей всё это делается, ради их покоя, будущего, ради того, чтобы вы спокойно спали дома. Чтобы вы не оказались под ногами неверных, не терпели унижения, эти джигиты убивают и отдают жизнь. Не ставите свою жизнь на эту борьбу – помогите хотя бы добром, люди! Не будьте так равнодушны, не пускайте всё на самотёк! Не ставьте свою ничтожную выгоду выше джигитов, гибнущих сегодня за веру и родину! Увидите ещё: всё закончится, заживём хорошо. Добро наживём, лишь бы честь, веру, самих себя не потерять!

Полвон повернул коня к джигитам. Велел грузить добычу на животных, принадлежавших приехавшим на базар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.